

история / география / этнография



Лафкадио Хирн  
(Коидзуми Якумо)

# Япония эпохи Мэйдзи



Ломоносовъ  
Издательство



---

Лафкадио Хирн  
(Коидзуми Якумо)

Япония  
эпохи Мэйдзи



Издательство «Ломоносовъ»  
Москва • 2020

УДК 94(520).031  
ББК 63.5(3)  
Х49

Составитель серии Владислав Петров

Перевод Владислава Чурсина

Иллюстрации Ирины Тибиловой



ISBN 978-5-91678-557-9

© Чурсин В.П., перевод, 2020  
© А.Б. Танасейчук, введение, 2020  
© ООО «Издательство «Ломоносовъ», 2020



**С**борник литературно-страноведческих очерков англо-ирландско-американского журналиста, писателя, переводчика, литературоведа и востоковеда Лафкадио Хирна (*Lafcadio Hearn*; 1850–1904), известного в Японии под именем Коидзуми Якумо, включает очерки из книг «Мимолетные видения неведомой Японии» (*Glimpses of Unfamiliar Japan*), «Из глубин Востока: размышления и постижения в новой Японии» (*Out of the East: Reveries and Studies in New Japan*), «Кокоро: отблески и отголоски японской сокровенной жизни» (*Kokoro: Hints and Echoes of Japanese Inner Life*). Эти книги объединяет общая тематика — обычаи, традиции, верования и образ мышления японцев в эпоху Мэйдзи. Это лишь часть «японской» литературно-страноведческой прозы писателя, в которой отрази-

лось его отношение ко многим проблемам Японии той эпохи: культурным, социальным, политическим, экономическим, религиозным.

Из названных сборников на русский язык был почти полностью переведен только сборник «Kokoro: Hints and Echoes of Japanese Inner Life», изданный под названием «Кокоро: душа Японии» (Пг., 1918). В настоящее издание из него вошел очерк «Гений японской цивилизации» (в новом современном переводе).

Даже в наше время писателей, имевших возможность прожить в Японии долгие годы, совсем немного. Еще меньше тех, кто накопившиеся наблюдения и впечатления смог описать в форме, интересной широкому кругу читателей. Поэтому наблюдения, впечатления, размышления и выводы Лафкадио Хирна по-прежнему служат ценным источником информации для всех, кто интересуется культурой Страны восходящего солнца, обычаями, традициями и жизненными ценностями японцев.

Но какими же ветрами занесло Лафкадио Хирна в столь далекую от Европы Японию?

Лафкадио Хирн родился в Греции, на одном из островов Ионического архипелага (его имя образовано от названия родного острова: Лефкада — Λευκάδα, или Лефкас — Λευκάς). Его матерью была гречанка, а отцом — ирландец, британский военный врач. Мальчик воспитывался на родине отца в Ирландии, и родным для него языком стал английский. В девятнадцать лет он переехал в США, где подвизался репортером — сначала в Цинциннати, потом в Новом Орлеане, куда перебрался в 1877 году. Его очаровала креольская экзотика. Он изучает местный язык — каджунский диалект французского, увлекается историей и топографией Нового Орлеана, исследует городские достопримечательности, интенсивно впитывает местную культуру, собирает все, что касается местных обычаев, ритуалов и верований. С этим материалом он выходит на национальную литературную арену: его очерки о креольской экзотике публикуют ведущие американские литературные журналы того времени — «Harper's Weekly» и «Scribner's Magazine», к нему приходит первая литературная известность.

Совершенно естественным для знатока креольской экзотики стал следующий этап жизни: более двух лет Хирн прожил на Мартинике, знакомясь с местной жизнью, изучая обряды вуду, сочиняя очерки и корреспонденции, занимаясь переводами и составляя книгу путевых заметок. Тогда же, во второй половине 1880-х годов, у него просыпается интерес к Востоку. Он начинает изучать буддизм и философию дзэн, увлекается средневековой китайской литературой, публикует несколько переработок старинных китайских историй о привидениях. Интересом к Востоку можно объяснить и новое предложение — отправиться корреспондентом в Японию.

В Японию Хирн приехал весной 1890 года и до конца своих дней жил в Стране восходящего солнца. Любой дом был для него чужим — так повелось с младенчества. Может быть, поэтому переезд из «неформальной» Америки в предельно ритуализированную Японию дался ему легко. Преподавая японцам английский, он одновременно и сам был студентом: изучал язык, впитывал обычаи и культуру, дух Японии. Он вжился в новую действительность, принял японское подданство, был принят в самурайскую семью, женился, взял японское имя — Коидзуми Якумо. Здесь и началась его подлинная литературная жизнь, которая довольно быстро принесла ему мировую славу.

Он писал о Японии как японец, но очень понятно для западного читателя. Исследовал японскую культуру, перевозил ее, растолковывая читателю, какие они — японцы, отчего именно такие и почему обязательно превзойдут Запад. В России интерес к сочинениям писателя возник довольно рано — первая публикация о Хирне появилась в журнале «Мир Божий» в 1895 году. Его проза в переводах на русский язык начала издаваться в 1904 году. В преддверии катастрофической для России войны с Японией европеец, живущий в стане противника, досконально знающий традиции и обычаи народа таинственной страны, вызывал особый интерес.

Симптоматично, что на русском языке издавались в это время, главным образом, тексты этнографического характера — очерки нравов, размышления о стиле жизни, домашнем обиходе японцев, о японской цивилизации, ее особенностях и т. п.

Не угасло внимание к Хирну и по завершении войны. Но теперь особенный интерес к произведениям писателя испытывали сторонники «чистого искусства», которых, однако, увлекали не этнографические изыскания Хирна, а «страшная проза», волшебные и мистические истории. Последняя «дореволюционная» книга Лафкадио Хирна (она была подготовлена еще до и вышла вскоре после октябрьских событий) увидела свет в Петрограде в 1918 году. А потом наступило очень долгое затишье...

Настоящий сборник отражает этнокультурную составляющую «японского» периода творчества Лафкадио Хирна, пришедшую на эпоху Мэйдзи, засвидетельствовавшую реалии того времени и до настоящего времени весьма ограниченно представленную на русском языке.

*А.Б. Танасейчук,*  
доктор филологических наук



Из сборника  
«Мимолетные видения неведомой Японии»



### Предисловие

**В** предисловии к своим очаровательным «Сказаниям старой Японии» господин Митфорд<sup>1</sup> писал в 1871 году: «Книги, написанные за последние годы о Японии, были либо составлены по официальным отчетам, либо содержат отрывочные впечатления проезжих путешественников. О внутренней жизни японцев миру в целом известно крайне мало: их вера, их суеверия, их образ мыслей, скрытые струны, управляющие ими, — все это по-прежнему покрыто тайной».

Эта незримая жизнь, о которой упоминает господин Митфорд — и есть неведомая Япония, о которой я имел возможность получить несколько мимолетных впечатлений. Читатель, возможно, будет разочарован их скудностью, ибо немногим более чем четырехлетнее проживание среди народа — пусть даже того, кто старается принять его обычаи и традиции, — едва ли достаточный срок, чтобы чужеземец смог почувствовать себя дома в этом мире необычного.

Религиозные представления народа — особенно представления, происходящие из буддизма — и необычные суеверия, затронутые в этих заметках, мало разделяются образованными классами новой Японии. За исключением того, что касается присущего ему безразличия к абстрактным идеям в общем и метафизическим рассуждениям в частности, озападненный японец сегодняшнего дня в интеллектуальном плане стоит почти что вровень с образованным парижанином или бостонцем. Но он склонен относиться с чрезмерным пренебрежением ко всем представлениям о сверхъестественном, а в отношении важнейших религиозных вопросов его позицией является полнейшее безразличие. Лишь изредка его университетское образование в области современной философии побуждает его предпринять какое-либо независимое исследование взаимосвязей, будь то социологических или психологических. Суеверия для него — всего лишь суеверия, а их связь с эмоциональным характером народа его нисколько не интересует\*. И это не только в силу того, что он полностью понимает этот народ, но и в силу того, что тот класс, к которому он принадлежит, по-прежнему необоснованно, хотя и вполне естественно чурается своих прежних верований. Большинство из нас, кто называет себя агностиками, могут еще припомнить те чувства, с которыми в самый ранний период нашего освобождения от веры гораздо более иррациональной, нежели буддизм, мы оглядывались на мрачную теологию наших отцов. Интеллектуальная Япония сделалась агностической за каких-то нескольких десятилетий. Внезапность этой умственной революции в значительной мере объясняет главную причину, хотя, быть может, и не все причины нынешнего отношения правящего класса к буддизму. В настоящее время оно явно граничит с нетерпимостью, и коль скоро таковым является чувство в отношении веры, отличной от суеверия, чувство в отношении

---

\* Совершенно отличается от этого безразличия твердый, рациональный и дальновидный консерватизм виконта Торио (Коята Торио (1848—1905) — военный, политический и государственный деятель Японии эпохи Мэйдзи. — *Прим. перев.*), являющий благородное исключение. — *Здесь и далее, если не оговорено особо, в постраничных сносках — примечания автора.*

суеверия, отличного от веры, должно быть еще более ярко выраженным.

Редкостное очарование японской жизни, столь отличающее ее от жизни всех иных земель, уже не обнаруживается в ее европеизированных кругах. Оно обнаруживается в широких массах простого народа, который представляет в Японии, как и во всех иных странах, национальные ценности и который до сих пор прочно держится своих древних традиций, своих живописных одеяний, своих буддистских образов, своих домашних алтарей, своего прекрасного и трогательного почитания предков. Это такая жизнь, которая никогда не может прискучить иноземному наблюдателю, если он достаточно удачлив и отзывчив, чтобы включиться в нее, — жизнь, которая порой принуждает его усомниться в том, что движение хваленого западного прогресса действительно происходит в направлении нравственного развития. Ежедневно, с течением лет, ему будет открываться в ней некая необычайная и непредвиденная красота. Как и наша жизнь, она имеет свою темную сторону, но и эта сторона светла по сравнению с темной стороной западного бытия. Она имеет свои слабости, свои изъяны, свои пороки, свои жестокости; тем не менее чем больше ее наблюдаешь, тем более изумляешься ее необычайной добродетельности, ее изумительному терпению, ее неизменной обходительности, ее простосердечности, ее подсознательному милосердию. И для западного восприятия ее самые обычные суеверия, хотя и презираемые в Токио, обладают редкостной ценностью, как отрывки из неписаной летописи ее надежд, ее страхов, ее опыта добра и зла — ее первобытных трудов в поиске решений загадки Незримого. Сколь много более светлые и добрые суеверия народа добавляют к очарованию японской жизни, на самом деле доступно пониманию лишь того, кто долго проживал в японской глубинке. Некоторые его верования мрачны — как, например, в лис-демонов, но в большинстве своем они по красоте воображения сравнимы с греческими мифами, из которых самые выдающиеся поэты по-прежнему черпают свое вдохновение...

Умилительное нахальство домашних животных и относительное бесстрашие диких созданий в присутствии человека; белые тучи чаек, парящих над каждым прибывающим па-

роходом, в ожидании, что им бросят хлебные крошки; шум крыльев голубиных стай, спархивающих с храмовых карнизов, чтобы клевать рис, насыпанный для них паломниками; привычные взгляду аисты старинных общественных парков; олени священных храмов, ожидающие угощений и ласк; рыбы, высовывающие головы из священных лотосовых прудов, когда на воду падает тень незнакомца — эти и еще сотня иных милых картин обязаны фантазиям, которые хотя и называются суевериями, внушают в простейшей форме высокую истину о Единстве Жизни. И даже рассматривая верования не столь привлекательные, как эти — суеверия, нелепость которых может вызвать улыбку, — беспристрастному наблюдателю следует помнить следующие слова Леки<sup>2</sup>:

«Многие суеверия, несомненно, отвечают греческому понятию рабского “страха Божьего” и принесли невыразимые беды роду человеческому, но существует и множество других суеверий иного рода. Суеверия обращены как к нашим надеждам, так и к нашим страхам. Часто они отвечают и повторяют самым сокровенным устремлениям сердца. Они сообщают уверенность там, где рассудок способен допустить лишь возможность или вероятность. Они дают в наше распоряжение понятия, на которых любит подолгу задерживаться воображение. Иногда они даже оказывают новую поддержку нравственным истинам. Порождая потребности, которые только они одни способны удовлетворить, и страхи, которые только они одни способны подавить, они зачастую становятся важными элементами счастья; их удивительная способность давать утешение более всего чувствуется в часы немощи или тревоги, когда это более всего необходимо. Мы бóльшим обязаны нашим заблуждениям, чем нашим познаниям. Воображение — всецело творческое начало, быть может, способствует нашему счастью в большей мере, нежели разум, который в области мышления преимущественно критичен и деструктивен. Грубый амулет, который в минуту опасности или отчаяния дикарь, ничтоже сумняшеся, прижимает к груди, священный образ, — как в то свято верят, — оберегающий и охраняющий бедное жилище, в самую мрачную минуту человеческих страданий может дать более реальное утешение, чем на то способны величайшие теории философии... Не

может быть более серьезного заблуждения, чем вообразить, что, когда критический дух распространится повсюду, приятные верования все сохранятся и только лишь неприятные исчезнут».

То, что критический дух осовремененной Японии сейчас скорее косвенно способствует, нежели противодействует стараниям чужеземного фанатизма разрушить простые, счастливые верования народа и заменить их теми жестокими суевериями, которые Запад давно интеллектуально перерос — измышлениями о всенепрощающем Боге и о вечных муках ада — определенно вызывает лишь сожаление.

Более ста шестидесяти лет тому назад Энгельберт Кемпфер<sup>3</sup> писал о японцах: «В исполнении добродетели, в непорочности жизни и внешней набожности они значительно превосходят христиан». И за исключением тех мест, где туземные моральные устои пострадали от чужеземного поветрия — что идет из открытых портов — эти слова о японцах верны и поныне. По моему убеждению, как и по убеждению многих беспристрастных и более опытных наблюдателей японской жизни, — Японии совершенно нечего обрести обращением в христианство, в нравственном или каком-либо ином отношении, но у нее есть очень много такого, что она может безвозвратно утратить.

## Мой первый день на Востоке

— Не премините записать свои первые впечатления при первой же возможности, — сказал мне любезный профессор английского языка Бэзил Холл Чемберлен<sup>4</sup>, которого я имел удовольствие встретить вскоре после своего прибытия в Японию, — они быстро проходят, как вам известно, и никогда более к вам не вернуться, поскольку сотрутся из памяти. При этом из всех необычных ощущений, которые вы можете испытать в этой стране, никакие не покажутся вам столь изумительными.

И вот сейчас я стараюсь воспроизвести их из торопливых записей того времени и обнаруживаю, что они неуловимы еще более, чем очаровательны; что-то совсем улетучилось из всех моих воспоминаний, что-то просто невозможно припомнить.

Я пренебрег дружеским советом вопреки всей своей решимости следовать ему: я попросту не мог в те первые недели заставить себя затвориться в четырех стенах и записать всё по свежей памяти, поскольку так много еще предстояло увидеть, и услышать, и ощутить на этих залитых солнцем улицах чудесного японского города. И при всем при том, будь я даже способен оживить все утраченные ощущения этих первых опытов, сомневаюсь, что я смог бы выразить и передать их словами. Первое очарование Японии столь же неосязаемо и мимолетно, как аромат нежнейшего парфюма.

Для меня оно началось с моей самой первой поездки в *куруме* из европейского квартала Иокогамы в японский. Всё, что я способен припомнить о ней, изложено мною далее.

|

С восхитительным изумлением от первой поездки по японским улицам — не имея возможности заставить своего рикшу-*курумая* понять хоть что-либо, кроме жестов, неистовых жестов везти куда угодно, во все четыре стороны в одно и то же время, ибо прелесть и новизна всего просто неопишутемы — приходит наконец ощущение, что находишься на Востоке, на том Дальнем Востоке, о котором столь много было прочитано, о котором столько долго грезилось и тем не менее, как глаза тому свидетельствуют, о котором до сей поры ничего мне не было известно. Романтично даже само первое осознание этого вполне рядового факта, но для меня это осознание еще и невыразимым образом преображается неземным великолепием этого дня. Какое-то несказанное очарование наполняет утренний воздух, прохладный от свежести японской весны и набегающих со снежного конуса Фудзи порывов ветра; очарование скорее от нежнейшей прозрачности, нежели от каких-либо конкретных красок — от исключительной ясности атмосферы, лишь с призрачным намеком на синеву, сквозь которую даже самые удаленные предметы кажутся сфокусированными с изумительной резкостью. Солнце лишь приятно греет, *дзинрикися*, или *курума*, — это самый уютный маленький экипаж, какой только можно себе представить, а уличные виды, обозреваемые поверх пляшущей внизу белой шляпы-гриба моего осандаленного ры-

сака, столь изумительны, что, как мне представляется, никогда не смогут мне прискучить.

Всё кажется фантастичным — всё и вся вокруг маленькое, необычное и непостижимое: маленькие дома под синими крышами, маленькие фасады магазинов с синими завесами и улыбающиеся маленькие люди в своих синих одеждах. Эта иллюзия нарушается лишь каким-нибудь случайно проходящим мимо долговязым чужеземцем да разного рода магазинными вывесками, пестрящими нелепыми посягательствами на английский язык. Как бы то ни было, подобные вещи служат, лишь чтобы подчеркнуть действительность; они никак существенно не умаляют очарование причудливых улочек.

Первоначально вы испытываете лишь восхитительно-странное недоумение, когда смотрите вдоль одной из них, сквозь бесконечное трепетание флагов и колыхание синих занавесей, преисполненных красоты и загадочности благодаря надписям японской или китайской грамотой. Ибо нет никаких сиюминутно распознаваемых законов строительства или отделки: каждое здание как будто обладает своим собственным фантастическим очарованием; ничто в точности не повторяет что-либо еще, и всё ошеломляюще необычно. Но постепенно, по прошествии какого-то часа, проведенного в этом квартале, ваш глаз начинает смутно распознавать некий общий план в архитектуре этих низких светлых деревянных зданий с причудливыми фронтонами, в большинстве своем некрашеных, со всеми их первыми этажами, открытыми на улицу, и с узкими выступами кровли над фасадом каждого магазинчика. Вы начинаете постигать общую планировку крошечных магазинчиков со сплошь устланными циновками полами, значительно приподнятыми над землей, а также общее вертикальное направление надписей, как колышущихся на занавесях, так и мерцающих на позолоченных или лакированных вывесках. Вы замечаете, что тот же самый ярко-синий цвет, что преобладает в народном костюме, задает тон также и в окрасе занавесей магазинчиков, хотя в них имеются и проблески иных оттенков — голубого, белого и красного (но нет зеленого или желтого). А затем вы также обращаете внимание, что одежды разнорабочих имеют столь же изумительные надписи, что и занавеси магазинчиков. Никакая арабская вязь не смогла бы

произвести подобный эффект. Затейливо измененные, дабы украшать, эти иероглифы обладают поразительной симметрией, которой не мог бы обладать орнамент, не несущий в себе какого-то смысла. В том виде, как они изображены на спине рабочей одежды — чисто белые на синем фоне и настолько крупные, чтобы легко различаться издали (будучи названием какой-либо гильдии или компании, в которой состоит или работает носящий эту одежду), они придают простому, дешевому одеянию мнимый вид великолепия.

И наконец вам, как откровение, приходит осознание того, что изумительная живописность всех этих улиц создается, главным образом, обилием китайско-японских иероглифов — белых, черных, синих или золотых, украшающих всё и вся — вплоть до дверных стоек и бумажных ширм. Представьте себе на какое-то мгновение последствие замены этих чудесных иероглифов буквами английского алфавита; одна лишь мысль об этом вызовет жестокое потрясение вашего эстетического чувства, каким бы непритязательным оно у вас ни было, и вы сделаетесь, как сделался и я, ярым врагом «*Ромадзи Кай*» — того общества, что было учреждено ради ужасной цели — ввести использование английских букв в письменный японский язык.

## II

Иероглиф не производит на японский мозг впечатления сколько-нибудь подобного тому, что вызывает в западном мозгу буква или сочетание букв — скучные безжизненные символы звуков. Для японского мозга иероглиф — это живая картина: он живет, он говорит, он жестикулирует. Всё пространство японской улицы наполнено такими живыми знаками — фигурами, взывающими к глазам, словами, улыбающимися или меняющими свое выражение, подобно человеческим лицам.

Что такое эти письменные знаки по сравнению с нашими собственными безжизненными литерами, могут понять лишь те, кто когда-либо жил на Дальнем Востоке. Ибо напечатанные иероглифы японских или китайских текстов не дают ни малейшего намека на возможную красоту тех же самых иероглифов, причудливо измененных для декоративных надписей, а то и просто для самых обычных целей. Никакие



жесткие условности не сковывают фантазию каллиграфов: каждый из них прикладывает все свои силы и старания, дабы сделать свои иероглифы красивее любых других. Поколения за поколениями художников трудились в поте лица своего со времен незапамятных в подобном соперничестве, и, таким образом, по прошествии многих веков неустанных трудов примитивный символ превратился в предмет неопишуемой красоты. Он состоит всего лишь из определенного числа мазков кисти, но в каждой его детали скрыто неподдающееся разгадке тайное искусство грации, пропорции, неуловимого изгиба, которое фактически и делает его похожим на живой, и служит свидетельством тому, что даже в краткий миг его начертания художник чувствовал своей кистью идеальную форму этой черты *одинаково на протяжении всей ее длины*, от начала до завершения. Но искусство проведения черты — это еще не всё; искусство их сочетания — вот что создает магию очарования, часто изумляющую самих японцев. И совершенно не удивительно, принимая во внимание необыкновенно персонифицированную, живую, эзотерическую сторону японской письменности, что существуют изумительные легенды о каллиграфии, повествующие о том, как слова, написанные праведными знатоками, обрели человеческий облик и сошли со своих досок, чтобы вступить в диалог с людьми.

### III

Мой курумая называет себя «Тя». У него белая шляпа, похожая на шляпку огромного гриба, короткая синяя куртка с широкими рукавами, синие панталоны, плотно облегающие ноги подобно «трико» и доходящие до щиколоток, легкие соломенные сандалии, завязанные на голых ступнях веревками из пальмового волокна. Он, несомненно, всецело воплощает в себе терпение, выносливость, а также присущие его сословию навыки добиваться своего посредством хитрости и лести. Он уже вынудил меня платить ему больше, нежели определено законом, — понапрасну меня предупреждали о его скрытом коварстве. Ибо того, что рысаком тебе служит человеческое существо, неутомимо бегущее между оглоблями, часами без передышки скачущее вверх-вниз перед твоими глазами, бы-

вает вполне достаточно, чтобы пробудить чувство сострадания. А когда это человеческое существо, так вот рысящее между оглоблями, со всеми своими надеждами, воспоминаниями, чувствами и представлениями, демонстрирует обладание добрейшей улыбкой и способность ко всяческим проявлениям бесконечной благодарности, это сострадание переходит в симпатию и пробуждает безрассудные импульсы к самопожертвованию. Думаю, что зрелище льющегося ручьями потока также отчасти способствует пробуждению этого чувства, ибо заставляет задумываться о том, какова цена повышенных сердцебиений и мышечных напряжений. Одежда Тя насквозь пропитана потом, и он постоянно вытирает лицо небольшим полотенцем небесно-голубого цвета, с изображенными на нем белым цветом побегами бамбука и воробьями, которое он обматывает вокруг запястья, когда бежит.

Однако то, что привлекает меня в Тя — Тя, воспринимаемым не как тягловая сила, а как человеческая личность, — я быстро учусь распознавать во множествах лиц, оборачивающихся к нам, пока мы катим по миниатюрным улочкам. И возможно, исключительно приятное впечатление этого утра связано с этой необыкновенной деликатностью постоянного всеобщего рассматривания. Каждый взирает на вас с любопытством; но никогда не бывает чего-либо неприятного, тем более чего-либо враждебного в этих пристальных взглядах: чаще всего они сопровождаются улыбкой или полуулыбкой. Конечным итогом всех этих доброжелательно-любопытных взглядов и улыбок становится то, что чужеземец начинает невольно думать, что оказался в сказочной стране. Несомненно, такое утверждение кажется донельзя избитым и заезженным, ибо каждый, кто описывает ощущения своего первого дня в Японии, говорит об этой стране, как о стране волшебной, а о народе ее — как о народе сказочном. Но имеется вполне естественная причина для столь единодушного выбора эпитетов при описании того, что почти невозможно более точно описать.

Неожиданно оказаться в мире, где всё представлено в меньшем и более деликатном масштабе, чем это нам привычно; в мире уменьшенных и с виду более добрых существ, которые все поголовно улыбаются вам, как будто желают вам всяческо-

го благополучия; в мире, где всё движется медленно и плавно, а голоса приглушены; в мире, где земля, жизнь и небо не похожи на всё то, что вам когда-либо приходилось видеть где-либо еще, — для воображения, воспитанного на английском фольклоре, это подобно воплощению мечты о стране эльфов.

#### IV

Путешественник, который неожиданно попадает в эпоху общественных перемен — а особенно, в эпоху смены феодального прошлого демократическим настоящим — вполне может испытать сожаление об упадке вещей прекрасных и воцарении вещей новых и безобразных. Что из тех и других я еще смогу открыть для себя в Японии, мне неизвестно; но сегодня, на этих экзотических улицах, старое и новое смешалось настолько, что одно кажется оттеняющим другое. Линия крошечных белых телеграфных столбов, несущих мировые новости в газеты, которые печатаются смесью японских букв и китайских иероглифов; электрический звонок в каком-то чайном домике с восточной загадкой текста, приклеенного рядом с кнопкой из слоновой кости; магазин американских швейных машинок по соседству с лавкой изготовителя буддистских образов; заведение фотографа рядом с мастерской по плетению соломенных сандалий — всё это не вызывает ощущения диссонанса, ибо любой образец западного новшества помещается в восточное обрамление, которое представляется пригодным для любой картины. Но в первый день, во всяком случае, только старое выглядит новым для иностранца и этого достаточно, чтобы целиком завладеть его вниманием. Затем ему начинает казаться, что всё в Японии — утонченно, изысканно, восхитительно, — даже пара деревянных палочек для еды в бумажном пакетике с небольшим рисунком на нем; даже упаковка зубочисток из дерева вишни в бумажной обертке с чудесными буквами трех различных цветов на ней; даже маленькое небесно-голубое полотенце с рисунком порхающих воробьев, которым возница вашей дзинрикисы вытирает свое лицо. Банковские билеты и обычные медные монеты — это истинные произведения искусства. Даже кусок цветного шпагата, которым лавочник завязал вашу последнюю покупку, — это нечто необычно-

венное. Вещи необычные и необычно изящные приводят вас в полнейшее изумление своим неимоверным обилием: по обе стороны от вас, куда бы вы ни обратили свой взор, — повсюду бесчисленные удивительные вещи, пока еще совершенно непонятного вам назначения.

Но заглядываться на них опасно. Каждый раз, когда вы решаетесь обратить свой взор на что-либо, что-то толкает вас купить это — если только, как это часто бывает, улыбающийся торговец не предложит вашему вниманию столь много разных видов одного и того же товара, каждый особенно и все вместе невыразимо соблазнительные, что вы побежите прочь в ужасе от своих собственных порывов. Лавочник никогда не просит вас что-либо купить, но его товары обладают колдовской силой, и, если только вы начинаете покупать, вы пропали. Дешевизна означает лишь соблазн вконец разориться, ведь запасы этих неотразимых товаров неистощимы. Огромный пароход, регулярно пересекающий Тихий океан, не смог бы вместить всего того, что вам захочется приобрести. И пусть вы не готовы признаться в этом даже самому себе — вы захотите купить не только всё содержимое какой-то одной лавки; более того, вы захотите купить эту лавку целиком вместе с лавочником, и целые улицы лавок с их портьерами и со всеми их жителями, и весь этот город с заливом и горами, кольцом окружающими его, и белое колдовство Фудзиямы, зависшее над ним в безупречно голубом небе, и всю Японию, по всей правде говоря, с ее волшебными деревьями и сияющим небосводом, со всеми ее городами и весями, храмами и святилищами, со всеми сорока миллионами самого обворожительного народа во вселенной.

Сейчас у меня в памяти всплывают слова, однажды услышанные мною из уст одного практичного американца, узнавшего о великом пожаре в Японии: «О! Эти люди могут позволить себе пожары, ведь их дома так дешевы в постройке». И верно: хрупкие деревянные дома простого народа могут быть дешево и быстро заменены новыми, но то, что украшает их внутри, заменить нельзя никоим образом, и каждый пожар — это трагедия. Ибо это страна необозримого кустарного разнообразия; фабричное оборудование не успело еще внести однообразие

и утилитарное безобразие в дешевую продукцию (за исключением производимой для удовлетворения иноземного спроса на дурновкусие), и каждый предмет, созданный художником или ремесленником, по-прежнему отличается от всех остальных даже его собственного творения. И каждый раз, когда что-либо прекрасное гибнет в огне, это есть нечто, воплощающее в себе неповторимую идею.

По счастью, художественный позыв сам по себе в этой стране пожаров обладает жизнестойкостью, которая переживает каждое поколение художников и бросает вызов огню, обращаящему их труд в пепел или бесформенные слитки металла. Идея, символ которой погиб, возродится в других творениях — быть может, по прошествии столетия, — измененная, разумеется, однако узнаваемо родственная мысли прошлого. Каждый художник находит высшую форму выражения не годами поисков и жертв — жертвенное прошлое находится в нем самом; его искусство — это полученное им наследие; давно умершими людьми направляются его пальцы при изображении летящей птицы, горных туманов, утренней и вечерней палитры неба, формы ветвей и весеннего буйства цветов: поколения искусных творцов передали ему свое мастерство и вновь оживают в чудесных линиях его рисунка. Что первоначально было осознанным усилием, стало неосознанным в последующие столетия, — оно становится почти механическим в живом человеке, становится искусством инстинктивным. В силу этого одна цветная гравюра Хокусая<sup>5</sup> или Хиросигэ<sup>6</sup>, первоначально проданная за сущие гроши, может содержать в себе истинного искусства более, чем какое-нибудь западное полотно, оцененное дороже, чем стоит целая японская улица.

## V

Легки в помине собственные типажи Хокусая, идущие в соломенных плащах, в огромных грибовидных соломенных шляпах и в соломенных сандалиях — голоногие и голорукие крестьяне, до черноты потемневшие от солнца и ветра; терпеливоликые матери с улыбающимися бритоголовыми младенцами за спиной, неловко семенящие мимо на своих *гэта* — высоких, громко цокающих деревянных сабо; торговцы в полном наряде,

сидящие подогнув под себя ноги, покуривая свои маленькие латунные трубочки, посреди несметных загадок своих магазинов.

Я обращаю внимание, насколько малы и изящны ступни людей — будь то голые коричневые ступни крестьян, или красивые ножки детей в крохотных-прекрохотных гэта, или ступни девочек в белоснежных *таби*. Таби — белые, с отдельным большим пальцем гольфы, придают маленькой легкой ступне сказочный вид — наделяют ее грацией копытца фавна. Обутая или босая, японская ступня обладает античной симметрией: она еще не утратила своей формы от ношения обуви, деформировавшей ступни людей Запада.

...В каждой паре японских деревянных сабо при ходьбе одна подошва издает звук, несколько отличный от звучания ее напарницы, примерно как отличается «*крин*» от «*кран*»; поэтому отзвук шагов пешехода обладает чередующимся звуковым ритмом. На мостовой, такой как возле любой железнодорожной станции, этот звук приобретает необыкновенной силы звучность, и толпа иногда преднамеренно начинает идти в ногу, чем достигается прелюбопытнейший и невообразимый эффект — протяжный гул деревянного настила.

## VI

«Тэра э юкэ!»

Мне волей-неволей приходится возвращаться в европейский отель, но не ради полуденной трапезы, ибо мне жалко времени, необходимого на ее поглощение, поскольку как я ни бился, так и не сумел объяснить Тя свое желание посетить какой-нибудь буддистский храм. Тя это понял, когда хозяин отеля произнес волшебные слова: «*Тэра э юкэ!*»

Несколько минут бега по широким улицам с садами и дорогами, безобразного вида европейскими зданиями по обеим их сторонам; затем через мост над каналом, до отказа заполненным некрашеными остроносими суденышками необычайной конструкции, и мы вновь углубляемся в узкие, низкие, ярко освещенные прелестные улочки — в другую часть японского города. Тя лихо мчится во всю свою прыть между рядами маленьких ковчегоподобных домиков, сужающихся от низа

кверху, между рядами маленьких открытых лавчонок. Над всеми ними узкополосчатая синяя черепичная крыша покато протягивается до забранных бумажными экранами комнаток верхних этажей, и со всех фасадов свешиваются драпировки — темно-синие, или белые, или малиновые — полосы материи в один фут шириной, испещренные красивыми японскими надписями: белыми на синих, красными на черных, черными на белых. Но всё это пролетает мимо быстро, как сновидение. Мы пересекаем еще один канал и устремляемся вверх по узкой улочке, упирающейся в подножье холма. Внезапно Тя останавливается перед бесконечным маршем широких каменных ступеней, опускает оглобли своего экипажа на землю, чтобы я мог сойти, и, указывая на ступеньки, восклицает: «*Тэра!*»

Я высаживаюсь, поднимаюсь по ступенькам и, добравшись до широкой террасы, оказываюсь прямо напротив изумительных ворот, увенчанных остроконечной многоугольной черепичной китайской крышей. Они сплошь покрыты чудесной резьбой, эти ворота. Драконы сплетаются на фризе над их распахнутыми створками; секции самих этих створок покрыты подобными фигурами, и на них есть горгульи — гротескные львиные головы, — выступающие со свесов крыши. Они сплошь серые, цвета цементного камня. Для меня тем не менее эти резные фигуры не выглядят неподвижными скульптурами — вся эта серпентиана и дракониана как будто бы извивается и одновременно ползет и карабкается вверх, незримо и неощутимо, подобно струям в водоворотах.

Я оборачиваюсь на мгновение, чтобы бросить взгляд сквозь изумительное сияние дня. Море и небо слились в сплошную прекрасную, бледную и прозрачную синеву. Подо мной накатывающиеся друг на друга валы синеватых крыш доходят до кромки ровного, словно зеркало, залива и до подножий зеленых лесистых холмов, обступающих город по обе стороны от него. За этим полукругом зеленых предгорий, силуэтами цвета индиго высится цепь зубчатых гор. И гигантской громадой над ними воздымается видение неопишуемого очарования — застывший в полном одиночестве снежный конус, неуловимо изящный и столь белый, что, если бы не давно знакомые очертания, его можно было бы принять за облако. Основание его остается невидимым, поскольку окрашено в тот же из-

умительный оттенок, что и небосвод; лишь выше границы вечных снегов виден этот сказочный конус, вершина-призрак, которая кажется подвешенной между сияющей твердью и сияющими небесами, — священная и бесподобная гора Фудзияма.

И внезапно меня охватывает необычное чувство — ощущение, что всё это грезится. Мне начинает казаться, что и эта лестница, и эти увитые драконами и змеями ворота, и этот голубой небосвод над городскими крышами, и призрачная красота Фудзи, и моя собственная тень, падающая на серую каменную кладку, — всё это должно сейчас исчезнуть. Откуда же взялось это чувство? Несомненно, оно порождено тем, что эти формы передо мной — изогнутые крыши, извивающиеся драконы, китайские резные гротескности — я как будто уже видел когда-то, их вид, должно быть, пробудил во мне забытые воспоминания о детских книгах с картинками. Но через мгновение иллюзия исчезает, и реальность возвращается с обновленным осознанием волшебной прозрачности дальних далей, необъятной выси голубого летнего небосклона, любовной белой магии японского солнца и удивительной нежности всех тонов этой живой картины.

## VII

Я продолжаю взбираться по лестнице, поднимаюсь ко вторым воротам, покрытым такими же горгульями и змеино-драконовыми телосплетениями, и вхожу во двор, где изящные каменные фонари выстроились как монумент. Справа и слева от меня сидят два огромных гротескного вида каменных льва — львы Будды — лев и львица (*карадзиси*). За ними — длинное низкое светлое здание с выгнутой остроконечной крышей, крытой синей черепицей, и с тремя деревянными ступенями перед входом. По его бокам вместо стен — простые деревянные щиты, покрытые тонкой белой бумагой. Это храм.

На ступеньках я разуваюсь; какой-то юноша раздвигает в обе стороны ширмы, закрывающие вход, и кланяется мне в изящном приветствии. И я вхожу, ощущая под ногами упругую мягкость настила из циновок — толстого, как перина. Передо мной огромная комната квадратной формы, наполненная незнакомым сладковатым запахом — ароматом япон-



ского фимиама. После полуденного сияния солнца проникающий сквозь бумагу свет кажется тусклым, подобно бледному сиянию луны. Минуту или две я не могу разглядеть ничего, кроме отблесков позолоты в мягком сумраке. Затем мои глаза привыкают к темноте, и я начинаю различать на фоне бумажных ширм, стоящих по трем сторонам алтаря, очертания огромных цветов, вырисовывающихся лишь как силуэты на фоне неясного белого света. Я подхожу ближе и вижу, что это бумажные цветы — символические распустившиеся цветы лотоса, красиво раскрашенные, с закручивающимися листьями, позолоченными сверху и ярко-зелеными снизу. В темном конце этого святилища, обращенный к входу, стоит алтарь Будды — роскошный и высокий алтарь, с бронзовой и позолоченной храмовой утварью на нем, плотно расставленной справа и слева от раки, подобной крошечному позолоченному храму. Но я не вижу никакой статуи; лишь таинство незнакомых форм из полированного металла, рельефно очерченных на фоне темноты — темноты за ракой и алтарем; ниша это или внутренняя алтарная часть, я не могу определить.

Юный служитель, который провел меня внутрь храма, сейчас подходит ко мне и, к моему великому изумлению, восклицает на прекрасном английском языке, указывая на богато украшенную позолоченную принадлежность между группами канделябр на алтаре:

- Это сокровищница Будды.
- А я хотел бы совершить приношение Будде, — отвечаю я.
- В этом нет надобности, — говорит он, вежливо улыбаясь.

Но я настаиваю, и он кладет на алтарь маленькое приношение от меня. После этого он приглашает меня в свой собственный покой в крыле здания — в большое светлое помещение без обстановки, но красиво устланное циновками. И мы садимся на пол и беседуем. Он рассказывает мне, что состоит учеником при этом храме. Он освоил английский язык в Токио и говорит на нем с необычным акцентом, но прекрасно подбирая слова. Под конец он спрашивает меня:

- Вы христианин?
- И я правдиво отвечаю:
- Не совсем так.

— Вы буддист?

— Не совсем так.

— Тогда почему вы совершаете приношения, если вы не верите в Будду?

— Я преклоняюсь перед красотой его учения и верой тех, кто следует ему.

— Есть ли буддисты в Англии и Америке?

— Есть, во всяком случае, очень много интересующихся буддистской философией.

Тогда он достает из ниши маленькую книжку и дает ее мне посмотреть. Это экземпляр «Буддистского катехизиса» Генри С. Олкотта<sup>7</sup>.

— Почему в вашем храме нет образа Будды? — спрашиваю я.

— Есть один маленький в сокровищнице на алтаре, — отвечает он, — но сокровищница закрыта. Также у нас есть несколько больших. Но образ Будды не выставляется на всеобщее обозрение каждый день — только в дни праздников. А некоторые образы выставляются на обозрение лишь однажды или дважды в год.

Со своего места я могу видеть между открытыми бумажными ширмами, как мужчины и женщины, поднимающиеся по лестнице, встают на колени и молятся перед входом в храм. Они встают на колени с таким безыскусным почтением, столь грациозно и столь естественно, что преклонение колен нашими западными верующими представляется в этом сравнении каким-то неуклюжим спотыканием. Некоторые из них лишь складывают ладони; другие хлопают в них три раза — громко и с расстановкой; затем они склоняют головы, молча молятся какое-то мгновение, а после поднимаются и уходят. Время от времени я слышу, как звякает и прыгает по дну бронзовая монетка, брошенная в большую деревянную копилку перед входом.

Я спрашиваю юного ученика:

— Почему они хлопают в ладоши три раза, прежде чем начать молиться?

Он отвечает:

— Три раза для *сансай* — трех сил: неба, земли, человека.

— Они хлопают с тем, чтобы призвать богов, так же как японцы хлопают в ладоши, вызывая своих помощников?

— О, нет! — отвечает он. — Хлопки в ладоши представляют собой лишь пробуждение ото Сна Долгой Ночи\*.

— Какой ночи? Какого сна?

Он колеблется некоторое время, прежде чем дать ответ:

— Будда сказал: все существа лишь грезят в этом скоротечном мире горестей.

— Значит, хлопки в ладоши означают, что при молитве душа пробуждается от таких грез?

— Да.

— Вы понимаете, что я имею в виду под словом «душа»?

— О, да! Буддисты верят, что душа всегда была и всегда будет.

— Даже в нирване?

— Да.

Пока мы вот так беседуем, входит глубокий старик — Главный Жрец этого храма — в сопровождении двух молодых жрецов, и мой собеседник представляет меня им; все трое кланяются очень низко, демонстрируя мне, прежде чем сесть на пол, блестящие темени своих гладко выбритых голов. Я отмечаю про себя, что они не улыбаются; они — первые увиденные мною японцы, которые не улыбаются: их лица бесстрастны, как лица статуй. Узкими глазами они рассматривают меня очень пристально, пока ученик переводит мне их вопросы и пока я пытаюсь рассказать им кое-что о переводах сутр в наших «Священных книгах Востока»<sup>8</sup>, о трудах Самуэля Биля<sup>9</sup>, Эжена Бюрнуфа<sup>10</sup>, Анри-Леона Фезера<sup>11</sup>, Уильяма Рис-Дэвидса<sup>12</sup>, Каспара Керна<sup>13</sup> и иных авторов. Они слушают, не меняя выражения лиц, и не произносят ни слова в ответ на перевод учеником моих пояснений. Между тем приносят чай и ставят передо мной в крошечной чашечке на маленьком бронзовом блюде в форме листа лотоса; и мне предлагают отведать какие-то маленькие печенья (*каси*) с нанесенным на них рисунком, в котором я узнаю свастику — древнеиндийский символ Колеса Закона.

Когда я встаю, чтобы уходить, все встают вместе со мной. На лестнице ученик спрашивает мое имя и адрес.

---

\* Не думаю, что это объяснение верно, но оно интересно как первое, которое я получил на эту тему. Собственно говоря, буддисты не должны хлопать в ладоши, а только слегка потереть их друг о друга. Синтоисты же всегда хлопают в ладоши четыре раза.

— Поскольку, — добавляет он, — вы меня здесь больше не встретите, так как я собираюсь покинуть храм. Но я навещу вас.

— А как зовут тебя? — спрашиваю я.

— Зовите меня Акира, — отвечает он.

На пороге я кланяюсь на прощание, и все они кланяются в ответ очень-очень низко — одна иссиня-черная голова и три блестящие головы, похожие на шары из слоновой кости. И когда я уйду, только Акира улыбается.

## VIII

— Тэра? — вопрошает Тя со своей огромной белой шляпой в руке, когда я вновь занимаю свое место в повозке у подножия лестницы. Что несомненно означает, хочу ли я увидеть какие-то другие храмы? Я совершенно определенно хочу: я еще не видел Будду.

— Да, Тя, тэра.

И вновь протяженная панорама загадочных лавчонок, и крытых черепицей карнизов, и фантастических загадок, начертанных на всем и повсюду. Я совершенно не имею представления, в каком направлении бежит Тя. Я только вижу, что чем дальше мы едем, тем уже становятся улицы, и что некоторые дома выглядят не солиднее, чем сплетенные из ивовых прутьев голубятни, и что мы переезжаем несколько мостов, прежде чем останавливаемся у подножия еще одного холма. Здесь также есть крутая лестница, а перед ней сооружение, которое одновременно и ворота, и символ — постройка впечатляющая, но ни в коей мере не ровня великим буддистским воротам, увиденным ранее.

Поразительно просты все его контуры: нет никаких резных украшений, никакой окраски, никаких надписей; тем не менее оно обладает сверхъестественной величавостью и загадочной красотой. Это — *тории*.

— *Мия*, — сообщает Тя.

Итак, это не тэра, а мия, святилище божеств синто — древней веры этой страны.

Я стою перед синтоистским символом; я впервые вижу — во всяком случае, не на картинке — то, что называется «тории».

Как описать тории тем, кто ни разу не видел это сооружение, хотя бы на фотографии или гравюре? Две высокие колонны держат две поперечные балки; концы нижней и более легкой балки заделаны в колонны несколько ниже их вершин; верхняя, более крупная балка, опирается на вершины колонн и довольно далеко выступает в стороны. Это сооружение мало отличается по виду независимо от того, служит для него материалом камень, дерево или металл. Описание неспособно дать сколько-либо правильного представления об истинном облике тории, о его величественности, о его мистическом подобии неким вратам. Когда вы впервые видите эту внушительную конструкцию, у вас может сложиться впечатление, что перед вами колоссальный макет некоего изящного китайского символа, возвышающийся на фоне неба, ибо все очертания его обладают грацией ожившего иероглифа — они имеют отчетливые углы и изгибы знаков, начертанных четырьмя мазками мастерской кисти\*.

Пройдя через тории, я поднимаюсь по лестнице из примерно ста каменных ступеней и обнаруживаю в ее завершении вторые тории, с нижней поперечной балки которых свешивается украшенная гирляндами мистическая *симэнава*. Здесь она представляет собой пеньковый канат примерно двух дюймов в диаметре на большем своем протяжении, но сужающийся на обоих концах. Иногда симэнава делается из бронзы, когда тории тоже из бронзы, но согласно традиции она должна быть связана из соломы, и чаще всего именно та-

---

\* Разные авторы, следуя мнению японоведа Э.М. Сатоу (Эрнест Мейсон Сатоу (Ernest Mason Satow; 1843–1929), британский японовед, лингвист, путешественник, составитель англо-японского словаря и нескольких путеводителей по Японии. Составленное им «Руководство по дипломатической практике» широко используется и в настоящее время. — *Прим. перев.*), утверждают, что тории было первоначально насестом для птиц, служащих приношением богам в синтоистских святилищах — «не как пища, но чтобы возвещать рассвет». По утверждению ряда авторитетов, этимологически это слово происходит от слова «насест»; но У.Дж. Астон (Уильям Джордж Астон (William George Aston; 1841–1911) — британский дипломат, один из основоположников британской японистики. — *Прим. перев.*), не меньший авторитет, выводит его происхождение от слов, которые имели обычное значение «ворота».

кой и бывает, ибо символизирует собой соломенную веревку, которую, как повествуется в древнем синтоистском мифе, переведенном на английский язык профессором Чемберленом\*, божество Футо-дама-но-микото протянул на пути богини Солнца Ама-тэрасу-оо-ми-Ками, чтобы она не могла вернуться в убежище, откуда ее вытащил Амэ-но-та-дзикара-о-но-Ками, Небесный бог силы. Симэнава в своей более привычной и более простой форме имеет свисающие пучки соломы по всей длине и через регулярные промежутки, поскольку первоначально она была сделана, как утверждает предание, из травы, вырванной с корнями, которые выступали наружу из ее скрутки.

Пройдя за эти тории, я оказываюсь на вершине холма в нечто, похожее на парк или сад развлечений. Справа стоит маленький храм; я так много читал о разочаровывающей пустоте синтоистских храмов, что совсем не сожалею об отсутствии его настоятеля. Я вижу перед собой нечто куда более интересное — рощицу вишневых деревьев, покрытых чем-то невыразимо прекрасным, — ослепительной дымкой белоснежных соцветий, окутывающей подобно летнему кучевому облаку каждую ветку и каждый побег; земля под ними и тропинка передо мной белы от мягкого, толстого, благоуханного, подобного снежному, покрова опавших лепестков.

За этим очарованием устроены цветочные клумбы, окружающие крохотные святилища; и изумительные искусственные гроты, наполненные различными чудовищами — драконами и мифологическими существами, вырубленными в скале; и миниатюрные искусственные ландшафты с крошечными рощами карликовых деревьев и столь же крошечными озерцами, микроскопическими ручейками, мостиками и водопадами. Здесь также есть качели для детей и имеются смотровые беседки, прилепившиеся на краю холма, откуда и весь этот прекрасный город, и зеркальный залив, сплошь усеянный парусами рыбачьих лодок, не больше булавочных головок величиной, и далекие, едва различимые гористые мысы, выступающие

---

\* Профессор Бэзил Холл Чемберлен занимал необычайную должность профессора японского (!) языка в Императорском университете Японии — немалая честь для английской филологии!

далеко в море, полностью открываются взору изумительной панорамой, отретушированной призрачной дымкой до красоты, непередаваемой словами.

Почему деревья в Японии столь замечательны? У нас слива или вишня в цвету не производят сколько-нибудь волнующего впечатления. Здесь же это чудо красоты столь потрясающее, что как бы много ни пришлось читать о нем ранее, увидев его воочию, невольно теряешь дар речи. Вы не видите никаких листьев — только одну сплошную туманную дымку нежных лепестков. В этой Стране Богов деревья так долго приручались и пестовались человеком, что теперь, возможно, они стремятся быть как можно красивее, чтобы выразить ему свою благодарность. Подобно прекрасным невольницам, они завоевали сердца людей. Но следует добавить, что именно японские сердца. По всей видимости, здесь ранее бывали какие-то иноземные туристы, ибо было сочтено необходимым развесить объявления на английском языке: «Запрещается ранить деревья».

## IX

— Тэра?

— Да, Тя, тэра.

На этот раз совсем недолго качусь я по японским улочкам. Дома стоят поодаль друг от друга, разбросанные вдоль подножия горы: город редет, распадается по мелким долинкам и, наконец, пропадает позади. Мы продолжаем свой путь по извилистой дороге, идущей по склону вдоль моря. Зеленые пригорки круто спускаются к краю дороги справа; слева, далеко внизу, расстилается широкая полоса дюнных песков и соленых прудиков, тянущаяся до самой линии прибоя, столь далекой, что она различается лишь как подвижная белая полоска. Сейчас время отлива, и тысячи собирателей съедобных моллюсков рассыпались по песчаной отмели и заходят так далеко, что их согбенные фигуры, усеивающие мерцающее морское дно, кажутся не больше мошек. Некоторые идут вдоль дороги впереди нас, возвращаясь со своего промысла с доверху наполненными корзинами — девушки с лицами столь же румяными, как и лица английских девушек.

И чем дальше трясется дзинрикися по неровной дороге, тем выше становятся нависшие над ней холмы. Внезапно Тя вновь останавливается перед самой крутой и высокой храмовой лестницей, какую мне до сих приходилось видеть.

Я взбираюсь, и взбираюсь, и взбираюсь, время от времени поневоле останавливаясь, чтобы перевести дух и расслабить свои жестоко ноющие икроножные мышцы; наверх я добираюсь почти бездыханным и оказываюсь между двумя каменными львами; один из них с разверзнутой, другой с сомкнутой пастью. Передо мной храм, расположенный на дальней оконечности небольшого пустынного плато, с трех сторон окруженного низкими утесами, — маленький храм, который выглядит очень старым и посеревшим. Со скалы справа от храма небольшой водопад низвергается в бассейн, обнесенный вокруг частоколом. Шум воды поглощает все остальные звуки. С океана дует пронизывающий ветер: в этом месте холодно даже на солнце, вокруг уныло и пустынно, как будто уже сотню лет здесь не произносились никакие молитвы.

Тя стучит и зовет, пока я снимаю свою обувь на истертом деревянном крыльце храма, и через минуту ожидания до нас доносятся шаркающие шаги и глухой кашель за бумажными загородками. Они раздвигаются, и появляется старый, обласченный во всё белое жрец; он жестом, с низким поклоном, предлагает мне войти. У него доброе лицо, его приветливая улыбка кажется мне одной из самых утонченных и искренних, какими меня когда-либо встречали. Затем у него вновь начинается приступ кашля, и такой сильный, что наводит меня на мысль: случись мне когда-либо вновь прийти сюда, я буду искать его понапрасну.

Я вхожу, ощущая под ногами этот мягкий, безупречно чистый, упругий настил из циновок, какой покрывает пол во всех японских домах. Я прохожу мимо неизменного колокола и лакированного анаоя и перед собой вижу одни только ширмы, поднимающиеся от пола до потолка. Старик, всё еще кашляя, отодвигает одну из них справа и жестами приглашает меня в сумрак внутреннего святилища, наполненного легким ароматом фимиама. Огромный бронзовый светильник с оскаленными позолоченными драконами, обвившимися вокруг его высокого пьедестала, — это первое, что я различаю.



Когда я прохожу мимо, то слегка задеваю его плечом, чем вызываю звон гирлянды колокольчиков, подвешенных к чаше в форме лотоса. Затем я добираюсь до алтаря, всё еще ощупью, по-прежнему не в состоянии четко различать формы предметов. Но жрец, раздвигая ширму за ширмой, проливает свет на позолоченную бронзовую утварь и надписи. Я ищу взглядом лик божества или духа-вседержителя между алтарными группами витых подсвечников и вижу лишь зеркало — круглый бледный диск из полированного металла — и собственный лик, отраженный в нем, а позади этой насмешки надо мной — призрак далекого моря.

Всего лишь зеркало! Символизирующее что? Иллюзию? Или что Вселенная существует для нас лишь как отражение наших собственных душ? Или древнекитайское учение о том, что мы должны искать Будду лишь в своих собственных сердцах? Быть может, однажды я сумею узнать обо всем этом.

Когда я уже сижу на крыльце храма, обуваясь и собираясь уходить, добрый старый жрец вновь подходит ко мне и, кланяясь, протягивает мне чашу. Я поспешно бросаю в нее несколько монет, решив для себя, что это буддистская чаша для жертвований, прежде чем обнаруживаю, что она наполнена горячей водой. Но изумительная обходительность старика спасает меня от ощущения всей бестактности моей ошибки. Не говоря ни слова и по-прежнему сохраняя свою добрую улыбку, он уносит эту чашу, и вернувшись с другой такой же, на этот раз пустой, наполняет ее горячей водой из маленького чайничка, и жестом предлагает мне испить.

Посетителям храмов, как правило и чаще всего, предлагают чай, но этот маленький храм очень беден, и я подозреваю, что старый жрец порой страдает от отсутствия даже того, в чем непозволительно допускать нужды ни одного нашего ближнего. Когда я спускаюсь по извилистой лестнице к дороге, я вижу его, всё еще глядящего мне вслед, и вновь слышу его глухой кашель.

Затем насмешка зеркала возвращается ко мне. Я начинаю сомневаться, смогу ли я когда-нибудь обнаружить то, что я ищу — вне себя! То есть вне своего собственного воображения.

## X

— Тэра? — вновь спрашивает Тя.

— Тэра, нет — уже поздно. Отель, Тя.

Но Тя, свернув на обратном пути в узкую улочку, останавливает повозку перед святилищем или маленьким храмом, едва ли больше самого маленького японского магазинчика, однако более для меня удивительным, чем любое крупное священное здание из уже посещенных. Ибо по каждую сторону входа стоят на львиных лапах две чудовищные фигуры, обнаженные, кроваво-красные, демонические, с ужасающей мускулатурой, с грозно воздетыми руками, сжимающими позолоченные молнии, и с глазами, полными неистовой ярости; это хранители святынь Ни-О, или «Два Правителя»\*. Между двумя этими багровыми чудищами стоит девушка и смотрит на нас; ее стройная фигурка в платье серебристо-серого цвета с радужно-лиловым поясом изумительно выделяется на фоне внутренней полутьмы храма. Ее лицо, спокойное и удивительно нежное, способно очаровать в любой обстановке, но здесь, в необычном контрасте с этими гротескно-отталкивающими фигурами, производит впечатление совершенно невообразимое. И я невольно вопрошаю себя, оправдано ли мое отворачивания к этим чудищам-близнецам, если столь прекрасная дева считает их достойными поклонения? И они вдруг перестают казаться мне безобразными рядом с ней, стоящей между ними, такой грациозной и стройной, подобной чудесному мотыльку; она беспечно и простодушно разглядывает чужеземца, совер-

---

\* Эти Ни-О, первые увиденные мною в Японии, были весьма неказистыми фигурами. Есть изумительные Ни-О, которых можно увидеть у ворот некоторых великих храмов в Токио, Киото и в иных местах. Самые величественные из всех — это стоящие у врат огромного храма Тодай-дзи в городе Нара. Им порядка восьмисот лет. Невозможно не восхищаться замыслом, который воплотил в этих колоссальных фигурах яростное величие урагана. К Ни-О обращают молитвы, особенно паломники. Большинство статуй обезображивают облепляющие их катышки белой бумаги, которая разжевывается в кашу, а затем выплевывается в них. Существует любопытное поверье: если катышек приклеивается к статуе, значит молитва услышана; если же, в ином случае, он падает на землю, молитва останется безответной.

шенно не задумываясь о том, что эти фигуры могут казаться ему не только не божественными, но и ужасающими.

— Отель, Тя, отель! — вновь восклицаю я, ибо путь еще долог, а солнце уже заходит — заходит в нежнейшем, какое только можно вообразить, сиянии цвета топаза. Я так и не увидел лик Будды. Быть может, я смогу найти его образ завтра, где-нибудь в этой неизвестности деревянных улиц или на вершине какого-нибудь еще непокоренного мною холма.

Солнце зашло, свет цвета топаза померк, Тя останавливается, чтобы зажечь свой бумажный фонарь, и мы вновь поспешаем между двумя длинными линиями раскрашенных бумажных фонарей, вывешенных перед магазинами: они столь близко расположены, столь ровны эти линии, что кажутся двумя нескончаемыми нитками огненных жемчужин. И внезапно звук, величественный, низкий, могучий, доносится до моих ушей, подобно раскату грома над крышами города, — голос *цуриганэ*, великого храмового колокола.

День показался слишком коротким. Однако мои глаза столь долго ослеплялись великолепием белого света и так устали от этого нескончаемого лабиринта таинственных знаков, из-за которых каждая улица выглядит как приоткрывшаяся огромная книга заклинаний, что сейчас для них утомительно даже мягкое свечение всех этих бумажных фонарей, испещренных иероглифами. И я чувствую, что погружаюсь в дремоту...

## XI

— Амма-камисимо-го-хякумон!

Женский голос, звучащий в ночи, необыкновенно сладкозвучно и нараспев произносит слова, каждый звук которых доносится через мое открытое окно подобно мелодии флейты. Мой японский коридорный, который немного говорит по-английски, объяснил мне, что означают эти протяжные слова.

Вслед за этими словами слышу заунывный свисток, сначала на одной долгой ноте, затем в другом ключе, на двух коротких. Это свистит *амма*, слепая женщина, которая зарабатывает себе на жизнь массажем; свисток предупреждает пешеходов и воз-

ниц быть осторожней вблизи нее, ибо она не может их видеть. Она поет, чтобы услышали клиенты и позвали ее к себе:

— *Амма-камисимо-го-хякумон!*

Эти слова означают, что за сумму в «пятьсот монов» она будет растирать ваше изнуренное тело «сверху и снизу» и изгонит вашу усталость или боль. Пятьсот монов составляют пять сенов (японских центов), один сен равен десяти ринам. Необычное сладкозвучие ее голоса завораживает — мне даже хочется испытывать какую-нибудь боль, чтобы заплатить ей пятьсот монов, дабы она изгнала эту боль прочь.

Я ложусь спать, и мне снится сон. Я вижу китайские тексты — многочисленные, таинственные, загадочные — мчащиеся мимо меня, и все в одном направлении; иероглифы белые и черные на вывесках, на бумажных ширмах, на спинах людей в сандалиях. Они кажутся живыми, эти иероглифы, живущими осознанной жизнью; они шевелят своими частями, передвигаясь, подобно насекомым, чудовищно, как *насекомые-привидения*, я убегаю от них по низким узким залитым светом улицам на дзинрикися-призраке, с беззвучно катящимися колесами. И постоянно и неизменно я вижу огромную грибовидную шляпу Тя, скачущую вверх и вниз передо мной, в то время как он лихо мчит меня куда-то в неведомую даль.

## Домашний алтарь

|

В Японии существуют две формы религии усопших, одна из которых — это синто, а другая — буддизм. Синто — это первобытный культ, обычно называемый поклонением предкам. Но термин «поклонение предкам» представляется мне слишком ограниченным для религии, которая почитает не только тех древних богов, которые считаются прародителями японской нации, но также и целый сонм обожествляемых монархов, героев, князей и прославленных личностей. В сравнительно недавние времена обожествлялись, к примеру, великие даймё<sup>14</sup> провинции Идзумо; крестьяне провинции Симанэ, как и преж-

де, молятся перед алтарями рода Мацудайра. Более того, синто, равно как и веры эллинов и римлян, имеет своих богов природных стихий, а также особых божеств, которые управляют всеми житейскими делами. Таким образом, поклонение предкам, хотя и является по-прежнему важной особенностью синто, не единственная составляющая государственной религии, как и сам этот термин не дает полного описания синтоистского культа усопших — культа, который в Идзумо сохраняет свои первозданные черты больше, чем в других районах Японии.

Здесь я могу взять на себя смелость, даже не будучи синтологом, кое-что сказать о государственной религии Японии — этой старинной вере Идзумо, которая, хотя и укоренена в национальном характере сильнее буддизма, значительно меньше известна западному миру... Даже в своих нынешних внешних формах синто достаточно сложен и потребует совместных усилий историка, филолога и антрополога, лишь для того чтобы проследить многообразные пути его эволюции и определить источники его различных составляющих: первобытные политеизмы и фетишизмы, традиции неопределенного происхождения, философские концепции из Китая, Кореи и иных мест — все они в смешении с буддизмом, даосизмом и конфуцианством. «Возрождение чистого синто» — поддержанное правительством устремление восстановить этот культ в его архаичной простоте, очистив от чужеродных наслоений и особенно от всяких примет и признаков буддистского происхождения — имело своим результатом, коль скоро исходить из объявленной цели, лишь уничтожение бесценного искусства; загадка его происхождения столь же далека от разрешения, как и прежде. На протяжении пятнадцати веков эволюции синто претерпел изменения слишком глубокие, чтобы его можно было так запросто реконструировать в приказном порядке. По сходной причине все старания исследователей установить его связь с национальной этикой на основе всего лишь исторического или филологического анализа обречены на провал: равно как и попытки выяснить высшую загадку жизни посредством изучения составляющих элементов тела, ею одушевленного...

Однако кое-что из того, что означает синто, можно узнать, прожив несколько лет среди этого народа его жизнью и усвоив

его манеры и обычаи. Обладая подобным опытом, во всяком случае, можно претендовать на право изложить свою собственную концепцию синто.

## II

Те прозорливые правители эпохи Мэйдзи, кто отделил буддизм от государства, дабы усилить синто, несомненно, знали, что дают новую силу вере, не только идеально гармонирующей с их собственной государственной политикой, но и кроме того обладающей более совершенной жизнестойкостью, нежели инородная вера, хотя и могучая силой своего искусства, но так и не сумевшая глубоко укорениться в интеллектуальной почве Японии. Буддизм уже находился в упадке, хотя и был привнесен из Китая едва ли более тринадцати столетий назад; в то время как синто, будучи, несомненно, на много тысячелетий старше, по-видимому, скорее наращивал, нежели утрачивал силу на протяжении всех эпох преобразований. Практично-избирательный, он вобрал в себя и усвоил все формы иноземной мысли, которые могли содействовать его материальному проявлению или упрочить его нравственные устои. Буддизм попытался вобрать в себя его богов, так же как ранее вобрал в себя древних божеств брахманизма, но синто, казалось бы, сдающий свои позиции, на самом деле лишь заимствовал силу у своего соперника. Эта удивительная живучесть синто обусловлена тем обстоятельством, что в процессе своего долгого развития с незапамятных времен своего зарождения, он сделался еще в очень глубокой древности и в глубине своей по-прежнему остается религией души. Каким бы ни было происхождение его ритуалов и традиций, его нравственный дух стал отождествляться со всеми самыми глубокими и лучшими чувствами нации. По причине чего — особенно в Идзумо — попытка создать буддистский синто привела лишь к формированию синто-буддизма.

Скрытая жизненная сила синто сегодня — та именно сила, что противостоит всем стараниям миссионеров по обращению народа в свою веру, — означает нечто намного более глубокое, чем традиция, богослужение или обрядовость. Синто способен пережить всё это, не утратив реальной

силы. Разумеется, расширение народного кругозора через образование и влияние современной науки способны привести к изменению многих древних синтоистских понятий и представлений или даже к отказу от них, но этика синто несомненно сохранится неизменной. Ибо синто означает характер в его высшем понимании — отвагу, этикет, честь и, превыше всего, верность. Дух синто — это дух почитания родителей, ревностное исполнение своего долга, готовность отдать свою жизнь во имя принципа и без какой-либо тени сомнения. Это послушание ребенка, это нежность и обходительность японской женщины. Это равным образом и приверженность старине — успешное сдерживание тенденции отбросить прочь ценности всего прошлого в поспешно-суетном старании вобрать в себя излишне много чужеземного нынешнего. Это религия, но религия, преобразовавшаяся в унаследованный нравственный мотив, религия, превратившаяся в нравственный инстинкт. Это вся эмоциональная жизнь нации, это душа Японии.

Японский ребенок, можно сказать, уже рождается синтоистом. Домашнее обучение и школьное образование лишь дают проявиться врожденному: они не сажают новое семя, но оживляют нравственное чувство, переданное в виде наследственной черты характера. Равно как японский ребенок наследует способность владеть кисточкой для письма, точно так же он наследует этические склонности, совершенно отличные от наших собственных. Попросите японских студентов — учащуюся молодежь в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет — поведать вам о своих самых заветных желаниях, и если они сочтут спрашивающего заслуживающим доверия, быть может, девять из десяти ответят: «Умереть за Его Величество нашего императора». Это желание поднимается из самой глубины сердца, чистое, как любое желание мученичества, когда-либо родившееся на свет. В какой мере это чувство преданности могло или не могло быть ослаблено в таких мегаполисах, как Токио, новым агностицизмом и быстрым распространением среди студенчества иных идей девятнадцатого века, мне неизвестно, но в провинции оно кажется для отрочества естественным. При этом оно безрассудно — в отличие от верно-подданнических чувств, которые испытываем мы и которые

являются результатом более зрелого знания и устоявшихся убеждений. Никогда японский юноша не будет задаваться вопросом «зачем?» — сама красота самопожертвования будет для него достаточным мотивом. Столь восторженная преданность является частью национальной жизни, она в крови — унаследованная, подобно стремлению муравья погибнуть за свою маленькую республику, и бессознательная, подобно преданности пчел своей царице. Это синто.

Эта готовность пожертвовать своей собственной жизнью во имя вышестоящего, диктуемая своеобразным чувством чести, была, возможно, национальной чертой с самых ранних времен независимого существования японской нации. Задолго до эпохи феодального государства, когда почетное самоубийство сделалось вопросом соблюдения жесткого этикета и не только для воинов, но даже для женщин и маленьких детей, отдать свою жизнь за своего князя, даже если эта жертва была совершенно напрасна, считалось священным долгом. Мы можем привести множество примеров из древнего синтоистского сочинения «Кодзики». Ниже один из них.

Принц Маёва, сразив убийцу своего отца, бежал в дом знатного вельможи Оми Цубура. «После чего принц Охо-Хацусэ поднял свое войско и осадил этот дом. И стрелы, которые были выпущены, были столь же многочисленны, как стебли в тростниковых зарослях... Потом, когда их силы были уже на исходе, а их стрелы кончились, он (Оми Цубура) сказал принцу:

— Мои руки изранены, а стрелы у нас кончились. Мы больше не можем сражаться: что еще должно сделать?

На что принц ответил:

— Ничего сделать больше нельзя. Сейчас ты должен убить меня.

Поэтому Оми Цубура насмерть пронзил принца своим мечом, а затем покончил с собой, обезглавив себя собственной рукой».

Тысячи столь же впечатляющих примеров можно было бы без труда привести из более поздней истории Японии, в том числе и много таких, что имели место на памяти ныне живущих. И все это происходило не только ради людей: в определенных обстоятельствах умирали во имя чисто личных убеж-



дений. Тот, кто имел какое-либо мнение, которое он считал в высшей степени важным, когда все иные средства были исчерпаны, излагал свои взгляды в прощальном письме, а затем лишал себя жизни — только лишь для того, чтобы привлечь внимание к своим убеждениям и доказать их искренность. Подобный случай имел место не далее как в прошлом году в Токио\*, когда молодой лейтенант сил ополчения, по имени Охара Такэёси, покончил с собой, совершив *харакири* на кладбище Сайтокудзи, оставив письмо, в котором объяснил свой поступок желанием обратить внимание общественно-го мнения на опасность, которая исходит от нарастающего могущества России в северной части Тихого океана. Еще более трогательным и впечатляющим было в мае того же года самопожертвование, совершенное девушкой по имени Юко Хатакэяма после покушения на убийство цесаревича<sup>15</sup>; она приехала из Токио в Киото и покончила с собой перед воротами Кэнтё единственно во искупление вины за инцидент, навлекший позор на Японию и ввергший в глубокую печаль Отца нации — Его Священное Величество Императора.

### III

Что касается внешних форм, то в этом современный синто с превеликим трудом поддается анализу, хотя сквозь замысловатый покров чужеродных верований, столь плотно его облекающий, приметы его исконного характера по-прежнему хорошо различимы. В некоторых первобытных ритуалах, в архаичных молитвах, текстах, символах, в истории святилищ и даже во многих безыскусных идеях наибодежнейших приверженцев синто со всей ясностью проявляется как самая древняя из всех форм вероисповеданий — именно та, которую Герберт Спенсер<sup>16</sup> называет «корнем всех религий», — благоговейная преданность умершим. И действительно, именно так синто часто толковался его собственными величайшими учеными и теологами. Все усопшие, по представлению синтоистов, становятся божествами — *хотокэ*. В своем труде «Тама-номихасира» («Истинный священный столп духа») Хирата<sup>17</sup> го-

---

\* Это было написано в начале 1892 года.

ворит: «Души умерших продолжают существовать в незримом мире, который повсюду окружает нас, и они все становятся богами, различающимися по характеру и своей степени влияния. Некоторые обитают в храмах, построенных в их честь; другие парят возле своих усыпальниц; они продолжают служить своему князю, своим родителям, жене и детям так же, как когда они были во плоти»\*. При этом они управляют жизнями и делами людей. «Каждый человеческий поступок, — говорит Хирата, — это деяние какого-то бога». А Мотоори<sup>18</sup>, столь же признанный толкователь доктрины чистого синто, пишет: «Все нравственные идеи, которые требуются человеку, вложены в его душу богами и имеют одинаковую природу с инстинктами, которые заставляют его есть, когда он голоден, или пить, когда он чувствует жажду». Этой доктриной человеческая совесть провозглашается единственным необходимым советчиком. Хотя каждое действие — это «деяние *ками*», считается, что все люди заключают в себе способность отличить праведное побуждение от неправедного и влияние доброго божества от влияния божества недоброго. Собственное сердце — самый непогрешимый духовный наставник. «Убедиться в том, что нет пути (*мити*), — говорит Мотоори, — который надлежит познать и которому надлежит следовать, это воистину значит познать путь богов»\*\*. А Хирата пишет: «Если ты желаешь следовать истинной добродетели, научись благоговеть перед Незримым; и это удержит тебя от неправедных поступков. Принеси обет Богам, которые правят Незримым, и совершенствуй совесть (*ма-гокоро*), что заложена в тебе с рождения, и тогда ты никогда не собьешься с пути». Каким образом это духовное

---

\* Хирату и далее Мотоори цитирую по превосходной статье Э. М. Са-тоу «Возрождение чистого синто», опубликованной в Трудах Азиатского общества Японии. Под словом «боги» необязательно подразумеваются добрые *ками* (яп. духовная сущность, божество). В синто нет чертей; но зато имеются собственные «злые боги», равно как и добрые божества.

\*\* Смысл слов Мотоори не будет до конца понят, если только читателю не известно, что термин «синто» имеет в Японии сравнительно недавнее происхождение — будучи заимствован из китайского языка, с тем чтобы отличить эту древнюю веру от буддизма, и что древнее название этой первобытной религии — *ками-но-мити* — «путь богов».

самосовершенствование может быть обретено лучше всего, тот же самый великий толкователь определил почти столь же кратко: «Преданность памяти предков служит движущей силой всех добродетелей. Ни один из тех, кто исполняет свой долг перед ними, никогда не будет непочтителен к Богам или к своим здравствующим родителям. Такой человек будет предан своему князю, верен своим друзьям и добр и сердечен со своей женой и детьми».

Насколько далеко эти древние верования разошлись с идеями девятнадцатого века? Вероятно, не столь далеко, чтобы мы могли позволить себе насмехаться над ними. Вера древнего человека и знания самого совершенного психолога могут сойтись в удивительной гармонии на пороге одной и той же конечной истины, а мысль ребенка может повторить выводы Спенсера или Шопенгауэра. Не являются ли наши предки воистину нашими ками? Не является ли каждый наш поступок деянием усопших, которые присутствуют внутри нас? Не созданы ли наши порывы и устремления, наши способности и наши слабости, наши геройства и наши страхи теми исчезнувшими мириадами, от которых мы получили безмерно загадочное наследие жизни? Действительно ли мы думаем о том бесконечно сложном нечто, которым является каждый из нас, как о «я» или все-таки как об «они»? Что есть наша гордость или наше бесчестие, кроме как гордость или бесчестие Незримого? И что такое наше сознание, кроме как унаследованная совокупность бесчисленных опытов с переменной составляющей добра и зла?

#### IV

Культ поклонения предкам синто, несомненно, как и все подобные культы, развился из ритуалов погребения, согласно тому общему закону развития религий, что был столь скрупулезно прослежен Гербертом Спенсером. Есть основания полагать, что ранние формы богослужения синто могли развиваться из еще более древнего семейного исповедания — во многом таким же образом, как это показал Н.Д. Фюстель де Куланж<sup>19</sup> в своей замечательной книге «Древний город», каким из религии домашнего очага развились государственные религиоз-

ные установления греков и римлян. И действительно, слово *удзигами*, используемое ныне для обозначения приходского синтоистского храма, а также его божества, означает «*семейный бог*», и в своей современной форме является искажением или сокращением слова *ути-но-ками*, означающего «внутридомный бог» или «домовый бог». Толкователи синто тем не менее пытались объяснить этот термин иным образом. Хирата заявил, что это название следует применять только к *общему предку* или предкам или к тому, кто был так назван в благодарность своей общиной. Таким, несомненно, было правильное употребление этого термина в его время, а также намного ранее такового, но этимология этого слова, определенно, указывает на его происхождение из семейного исповедания и подтверждает современные научные представления о развитии религиозных институтов.

И совершенно так же, как среди греков и латинян семейный культ неизменно существовал на протяжении всего времени развития и распространения государственной религии, синтоистский семейный культ продолжал существовать наряду с общинным богослужением в бесчисленных удзигами и с общенациональным богослужением в императорских храмах Исэ и Кицуки. Многие предметы, связанные с семейным культом, несомненно, чужеродного или современного происхождения; в то же время его простые ритуалы и его произвольная поэтика сохраняют свое архаичное очарование. Для исследователя японской жизни, безусловно, наиболее интересная сторона синто заключается именно в этом домашнем богослужении, которое, как домашний культ античного Запада, существует в двойственной форме.

## V

Почти во всех домах в Идзумо имеется *камидана*\*. На ней, как правило, можно увидеть маленький синтоистский храм-алтарь мия, хранящий в себе таблички с именами богов (хотя бы одна из которых дарована местным приходским храмом синто), а также различные офуда — священные тексты или

---

\* От *ками* — « [высшие] силы», или боги, и *тана* — «полка».

заклинания, обычно представляющие собой письменные обязательства от имени какого-либо ками оберегать своих поклонников. Если нет мия, то таблички с офуда кладутся прямо на полку в определенном порядке, при этом наиболее важные располагаются посередине. Крайне редко на камидана можно увидеть какие-либо образы, поскольку исконный синто исключает любые изображения людей столь же строго, как иудейский или мусульманский закон; и вся синтоистская иконография принадлежит относительно современной эпохе и имеет буддистское происхождение. Если какие-то изображения всё же имеются, то скорее всего они из тех, что лишь в последние годы создавались в Кицуки<sup>20</sup> — это маленькие парные фигуры *Оо-куни-нуси-но-Ками* и *Кото-сиро-нуси-но-Ками*\*. Синтоистские *какэмоно*, также недавнего происхождения, изображающие деяния из «Кодзики», намного более распространены, чем синтоистские иконы: они, как правило, расположены в *токонома* — алькове в той же самой комнате, где находится камидана; впрочем, их не увидишь в домах более просвещенных сословий. Обычно на камидана нет ничего, кроме простого мия, содержащего в себе несколько офуда: крайне редко можно увидеть зеркало\*\* или

---

\* *Оо-куни-нуси-но-Ками* — «божественный владыка великой земли» — один из наиболее древних богов Японии; в народной традиции его отождествляют с богом богатства Дайкоку, а его сына *Кото-сиро-нуси-но-Ками* — с Эбису, покровителем честного труда. Эти божества обычно изображают вместе: Дайкоку, сидящим на тюках риса, одной рукой прижимающим к груди солнце, а другой сжимающим волшебный деревянный молот, единственный удар которого дарует богатство, а Эбису с удочкой, несущим под мышкой огромную рыбу Тай — карпа. Оба всегда изображаются с улыбающимися лицами, и у обоих большие уши, что является символом богатства и удачи.

\*\* Зеркало, как символ женских божеств, хранится в потайном внутреннем святилище различных синтоистских храмов. Но зеркало из металла, обычно выставленное на всеобщее обозрение в храмах синто, не имеет подлинно синтоистского происхождения, а было привнесено в Японию, как буддистский символ школы сингон-сю. Равно как зеркало в синто служит символом женских божеств, так же меч служит символом божеств мужских. Однако подлинные символы бога или богини не выставляются на всеобщее обозрение ни при каких обстоятельствах.

*гохэй* (свисающая полоска бумаги), если не считать *гохэй*, прикрепленного к небольшой симэнава, либо подвешенной прямо над камидана, либо свисающей с коробчатой рамы, в которую иногда помещается мия. Симэнава и бумажный *гохэй* являются подлинными символами синто: даже *офуда* и *мамори* (амулет, посвященный божеству) — символы скорее современные. Симэнава подвешивается не только перед домашним алтарем, но также над входной дверью почти каждого дома в Идзумо. Обычно это тонкая веревка из рисовой соломы; но перед жилищами высоких иерархов синто, таких как Тайся-Гудзи храма Кицуки, ее размеры и вес огромны. Одним из первых любопытных фактов, который неизменно производит глубокое впечатление на впервые прибывшего в Идзумо путешественника, является повсеместное присутствие этой веревки из соломы, которую иногда можно увидеть даже вокруг рисовых полей. Самая грандиозная демонстрация этого священного символа происходит в великие праздники Нового года, восшествия Дзимму Тэнно<sup>21</sup> на трон Японии и Дня рождения императора. В такое время улицы на всем своем протяжении украшены симэнава — толстыми, как корабельные канаты.

## VI

Характерная особенность Мацуэ — магазины мия. Такие заведения есть не только в этом старинном городе провинции Идзумо, но здесь они намного интереснее, чем те, что можно увидеть в больших городах других провинций. В них предлагаются мия сотни различных видов и величин, от детских игрушечных, которые продаются по цене меньше одного сена, до больших храмов-алтарей, предназначенных для богатых домов, которые стоят, быть может, десять иен и более. Помимо домашних алтарей, кое-где можно увидеть и массивные алтари из ценных пород дерева, лакированные и позолоченные, которые стоят от трехсот до полутора тысяч иен. Это праздничные алтари, и изготавливают их только для состоятельных коммерсантов. Они выставляются на всеобщее обозрение во время праздников синто и дважды в год проносятся по улицам в длинной про-

цессии, под возгласы «*Тёсая! Тёсая!*»\*. У каждого храмового прихода также имеется большой переносной мия, который в эти праздники проносится по улицам под громкие песнопения и непрерывный барабанный бой. Большинство домашних мия — это дешевые изделия. Изящный может стоять порядка двух иен, но те маленькие алтари, которые можно видеть в домах простого народа, стоят, как правило, много меньше половины иены. К тому же изысканные или дорогие домашние алтари противоречат духу чистого синто. Канонический мия должен быть сделан из безукоризненно белой древесины хиноки\*\* — и собран без единого гвоздя. Несколько составных деталей большей части тех, что я видел в магазинах, были скреплены между собой одним лишь рисовым клеем, но благодаря мастерству ремесленника этого было вполне достаточно. Синто требует, чтобы у мия не было позолоты или украшений. Красивые миниатюрные алтари в некоторых богатых домах могут по праву вызвать восхищение своим художественным исполнением и декорированием, но мия за десять или тринадцать сенов в доме простого рабочего или возницы-курумая, сделанный из простого белого дерева, по-настоящему воплощают тот дух простоты, что характеризует эту первобытную религию.

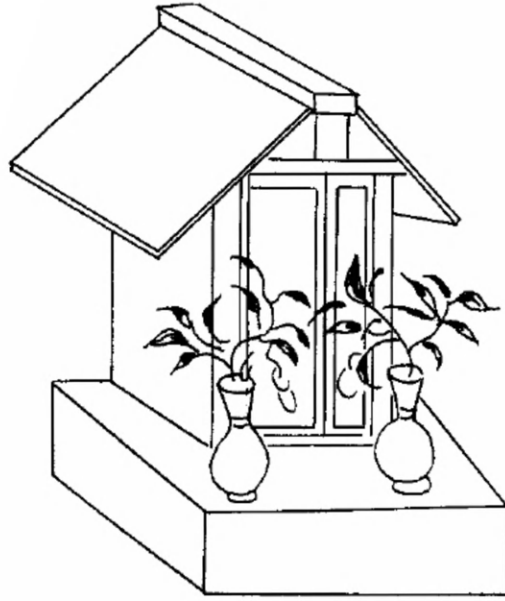
## VII

Камидана, или «полка богов», на которой размещаются мия и другие священные принадлежности культа синто, обычно

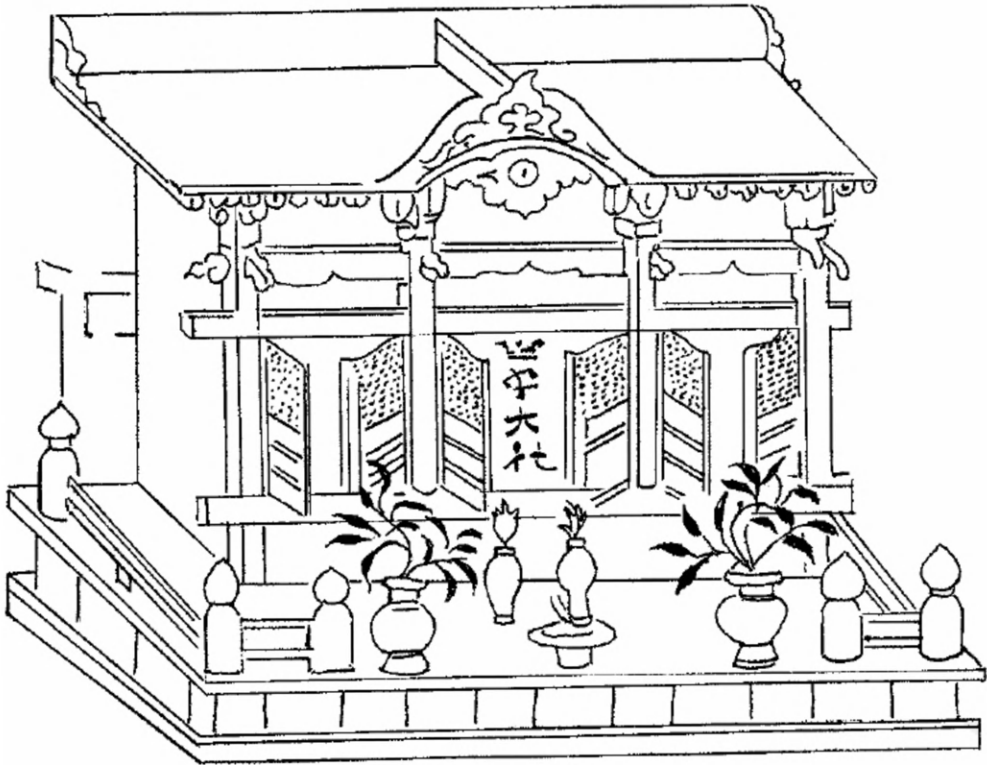
---

\* С древних времен двумя великими праздниками синто, на которых мия таким образом проносились в процессии, были *Ёсигами-но-мацури*, праздник бога Нового года, и годовщина восшествия на трон Дзимму Тэнно. Второй из них празднуется и поныне. Также мия выставляются напоказ во время торжеств по случаю дня рождения императора. В каждый из этих дней улицы изумительно украшаются фонариками и симэнава. Никто точно не знает, что означает слово «тёсая». По одной теории, это искаженное слово *Сагитё* — название великого военного праздника самураев, который отмечался примерно в то же самое время, что и *Ёсигами-но-мацури*; оба эти праздника уже прекратили свое существование.

\*\* *Thuya obtusa* — кипарисовик туполистный (лат.).



Мия из разряда самых дешевых



Мия состоятельного семейства



крепится на высоте шести-семи футов от пола. Как правило, она должна располагаться так, чтобы можно было без труда дотянуться рукой. Но в домах с высокими потолками мия иногда размещается на такой высоте, что совершать святыя приношения возможно только встав на ящик или иную подставку. Обычно камидана крепят на кронштейнах, либо непосредственно к стене, в углу комнаты, либо, что бывает чаще, к так называемой *камои* — горизонтальной балке с пазом, по которому в обе стороны скользят ширмы из матовой бумаги (*фусума*), разделяющие комнаты. В некоторых случаях ее красят или лакируют.

Обычная камидана изготавливается из белого дерева, размерами больше или меньше в зависимости от размеров мия, или числа *офуда* и других священных предметов, которые будут на ней находиться. В некоторых домах, и особенно в домах содержателей гостиниц и мелких лавочников, камидана делается достаточно длинной, чтобы вмещать несколько небольших алтарей, посвященных различным божествам синто, прежде всего тем, в ведении которых, как в это верят, находятся пути к преуспеянию и процветанию торговли. В домах бедняков она почти всегда находится в комнате, выходящей на улицу; а лавочники *Мацуэ* обычно устанавливают ее в своих магазинах, чтобы прохожие или покупатели могли с первого взгляда определить, попечению каких божеств вверил себя хозяин.

Есть множество правил, с ней связанных. Размещать камидана следует так, чтобы обращена она была на юг или восток, но нежелательно, чтобы она смотрела на запад, и ни при каких обстоятельствах недопустимо, чтобы она была обращена на север или северо-запад. Согласно общепринятому объяснению, запрет этот связан с тем, что умерших хоронят головой к северу, а всё, связанное со смертью, — нечисто; что же касается предписания в отношении запада, то оно соблюдается не столь строго. Впрочем, в большинстве домов *Идзумо* камидана обращена на юг или восток. В домах самых бедных, часто состоящих лишь из одной комнаты, выбор места для нее весьма невелик. В жилищах же средних классов соблюдается правило, согласно которому камидана не должна размещаться ни в го-

стиной (*дзасики*), ни в кухне. В домах *сидзоку*\* ее место, как правило, — в одной из меньших комнат семейства.

К камидана следует проявлять уважение. Нельзя, например, спать или просто прилечь отдохнуть, вытянув в ее сторону ноги. Перед ней нельзя молиться и даже стоять напротив нее, пребывая в состоянии религиозной нечистоты, возникшей по причине прикосновения к покойнику, присутствия на буддистских похоронах, а также в случае пребывания в трауре по родственнику, погребенному по буддистскому обряду. Если кто-либо из членов семьи был похоронен именно таким образом, то на пятьдесят дней\*\* камидана следует полностью покрыть чистой белой бумагой, а синтоистские офуда, прикрепленные к дверям дома, необходимо заклеить белой бумагой. В течение времени траура огонь в доме считается нечистым; поэтому по окончании траура вся зола из жаровен и кухонного очага должна быть вынесена прочь, а в них разожжен новый огонь, добытый при помощи кремня и кресала.

Но не только похороны являются причиной возникновения нечистоты по религиозному закону. Синто, как религия чистоты и очищения, имеет свое Второзаконие достаточно обширного толка. В определенные периоды времени женщины не должны молиться перед мия, а тем более совершать приношения, прикасаться к священным сосудам и зажигать светильники ками.

## VIII

Напротив мия или любого священного предмета богослужения синто, который будет помещен на камидана, ставятся два причудливой формы сосуда для приношений саке, две маленьких вазы — ханаикэ — для побегов священного дерева сакаки<sup>22</sup> (иногда туда ставят цветы) и маленький светильник

---

\* Слово «сидзоку» это всего лишь китайский вариант слова «самурай». Но сейчас этот термин обладает лишь немногим более широким значением, чем слово «джентльмен» в английском языке.

\*\* Столько, во всяком случае, длится траур в некоторых самурайских семьях. Другие говорят, что достаточно двадцати дней. Буддистский канон траурных правил многообразен и сложен; он потребовал бы много места для подробного рассмотрения.

в форме крошечного блюда, где в рапсовом масле плавает фитилек из сердцевины тростника. Строго говоря, все эти принадлежности, за исключением цветочных ваз, должны быть неглазированными красными керамическими изделиями, подобными тем, описание которых мы находим в начальных главах «Кодзики». По-прежнему на синтоистских праздниках в Идзумо, когда происходят во славу богов возлияния sake, его вкушают из чаш в форме мелких круглых тарелок, сделанных из обожженной красной глины без глазури, хотя входит в моду делать все принадлежности камидана из латуни или бронзы — даже ханаикэ. Правда, у бедняков, особенно в отдаленных сельских районах, в ходу самые архаичные принадлежности: светильник — простое блюдо из красной глины, называемое *каваракэ*, а вазы — чаще всего бамбуковые стаканы, которые изготавливают, просто отпиливая секцию бамбука чуть ниже одного сочленения и примерно в пяти дюймах выше другого.

Бронзовый светильник стоит, по меньшей мере, порядка двадцати пяти сенов. Он состоит из двух частей. Нижняя часть, в форме очень мелкого широкого бокала на очень толстой ножке, имеет как внутренний, так и внешний ободок; основание равноширокой мелкой латунной чаши, служащей верхней частью, куда наливается масло, плотно вставляется в него. При светильниках этого вида всегда имеется маленькая латунная принадлежность в форме плоского кольца с ручкой, прикрепленной под прямым углом к его поверхности. Она используется для перемещения плавающего фитиля и удержания его в нужном положении; ручка всегда достаточно длинная, чтобы пальцы не касались масла.

Самые любопытные предметы, которые можно увидеть на любой обычной камидана, — это пробки для сосудов с sake — *о-микидоккури* (сосуды для sake досточтимого бога). Эти пробки — *о-микидоккури-но-кутисаси* — делают либо из латуни, либо из мелких тонких деревянных пластинок, соединенных и изогнутых так, чтобы придать им необходимую форму. По правде говоря, несмотря на свое название, этот предмет не вполне пробка в строгом смысле слова; нижняя его часть совершенно не закупоривает горло сосуда: она просто свешивается в отверстие, подобно листу дерева, опущенному в него стебельком вниз. Мне затруднительно судить об истории его

появления на свет, но хотя он бывает различных форм — у латунных она более изящна, — все существующие разновидности, по-видимому, указывают на буддистское происхождение. Возможно, такая форма была заимствована у буддистского символа *ходзю-но-тама* — мистического самоцветного камня, мерцающий блеск которого (передаваемый в иконографии в виде трепещущего пламени) является символом Чистой Сущности; в общем, этой принадлежности надлежит символизировать в одно и то же время чистоту подношения и чистоту помыслов подносящего.

Лампадка может и не возжигаться ежевечерне во всех домах, так как есть семьи слишком бедные, чтобы позволить себе даже столь незначительный расход масла. Но первого, пятнадцатого и двадцать девятого числа каждого месяца огонь непременно возжигается; в эти дни неизменно должны совершаться приношения богам и всем *удзи-ко* — прихожанам синтоистского храма — надлежит посетить своего удзигами. В эти дни в каждом доме в о-микидоккури наливается саке, а в вазы на камидана ставятся побеги священной сакаки, либо веточки сосны, либо живые цветы. В первый день нового года камидана всегда украшается побегами сакаки, *моромоки* (папоротника) и сосновыми веточками, а также соломенной симэнава, и на нее кладутся рисовые лепешки вдвое больше обычных, как приношения богам.

## IX

Перед камидана богослужение совершается только древним богам синто. Предкам семьи или ее умершим членам поклоняются либо в отдельной комнате, называемой *митамая* — «комната духа», либо, если это происходит по буддистскому ритуалу, — перед буддистским алтарем *буцуданом* (*буцума*). Слова «митамая» и «сорэйся» (так иногда еще называют комнату духа) в Идзумо также могут означать либо маленький мия, либо ту часть жилища, где мия установлен и где совершаются приношения. Обычно приношения ставят на продолговатые деревянные столики; на такие же столики кладут приношения в храмах.

В Идзумо буддистское и синтоистское семейное богослужение уживаются без труда: то, как почитаются усопшие — в ми-

тамая или перед буцуданом, — всецело зависит от религиозных традиций семейства. Более того, в Идзумо есть семьи — особенно в Кицуки, — которые ни в какой форме не исповедуют буддизм, равно как и очень немногие, принадлежащие к буддистским школам *син-сю* или *нитирэн-сю*\*, члены которых не исповедуют синто. Но домашний культ усопших отправляется независимо от того, исповедует семья синто или буддизм.

Форма буцудана, характер его святых образов, его офуда и даже молитвы, произносимые перед ним, различаются у пятнадцати существующих буддистских школ — так называемых *сю*. Но чтобы рассмотреть тему буцудана во всей полноте, пришлось бы написать довольно солидный том. По этой причине я вынужден ограничиться лишь замечанием, что имеются буддистские домашние алтари совершенно различные по своей величине, цене и изысканности и что буцудан школы *син-сю*, хотя для меня наименее интересный из всех, принято считать самым изящным по исполнению и оформлению. Буцудан очень бедного семейства может стоить всего лишь несколько сенов, но состоятельный буддист может приобрести в Киото алтарь за столько тысяч иен, сколько он только способен за него выложить.

Ихай — таблички с посмертными именами усопших — никогда не держат в особой комнате или храме; они находятся в буцудане\*\* вместе с образами буддистских божеств — во вся-

---

\* Впрочем, несмотря на строгость школы *нитирэн-сю* в подобных вопросах, большинство последователей ее учения в Идзумо являются синтоистами. Мне также известно, что некоторые верующие, принадлежащие к школе *син-сю*, в Мацуэ посещают синтоистские храмы. Школа *син-сю* поклоняется только Будде Амиде, и ее адепты могли бы называться буддистскими «унитариями». По всей видимости, она так и не сумела обрести прочную опору в Идзумо. В Японии в целом она самая активная и процветающая из всех буддистских школ.

\*\* Эдвард С. Морзе (Морзе, Эдвард Сильвестр (Edward Sylvester Morse; 1838–1925) — американский зоолог и востоковед. Основоположник археологического и антропологического изучения Японии. — *Прим. перев.*) в своей книге «Японские дома» опубликовал с чужих слов весьма необычное заблуждение: «Буддистские домашние алтари *стоят на полу* — или, во всяком случае, мне так сообщили». Они никогда не стоят на полу, ни при каких обстоятельствах. В домах более высокого класса для буцудана закладываются специальные конструкционные

ком случае, это имеет место всегда, когда оказываемые им почести воздаются по буддистскому ритуалу. Хотя формы буцудана и характер его содержимого могут сильно различаться, форма ихай остается неизменной\*, притом что есть как замысловатые образцы, дорогие и редкие, так и простые, самые дешевые и незатейливые. Однако имеются различия в величине — ихай мужчины больше, чем ихай женщины, и имеет сверху украшение, которого нет у ихай женщины; в то же время табличка ребенка всегда очень маленькая. Средняя высота таблички ихай, которая делается для взрослого мужчины, немногим более одного фута, а толщина — примерно один дюйм. На ее вершине помещается символ *хоси-но-тама* — мистического самоцвета; также она обычно украшается некоего рода изображением облака, а постаментом ей служит цветок лотоса. Обычно ихай покрывается черным лаком, имя усоп-

---

элементы: альков, ниша или иное приспособление, часто расположенное таким образом, чтобы его можно было загораживать при помощи скользящей ширмы или небольшой дверцы. В жилищах поменьше, за неимением лучшего места, он может устанавливаться на полку, а домах бедняков — поверх *тансу* (ларя для одежды). Он никогда не помещается так высоко, как камидана, но редко — на высоте менее трех футов от пола. На собственной иллюстрации Э.С. Морзе буддистского домашнего алтаря он стоит вовсе не на полу, а на верхней полке посудного шкафа, который не следует путать с буцуданом — очень маленьким в сравнении с ним. Указанный рисунок был, по-видимому, сделан во время праздника *Боммацури*, посвященного усопшим. В такое время домашний буцудан всегда открыт для обозрения, а иногда и перемещается из своего обычного места, чтобы обеспечить свободное пространство для приношений, которые должны размещаться напротив него. Ставить или класть любой священный предмет на пол считается у японцев крайне непочтительным.

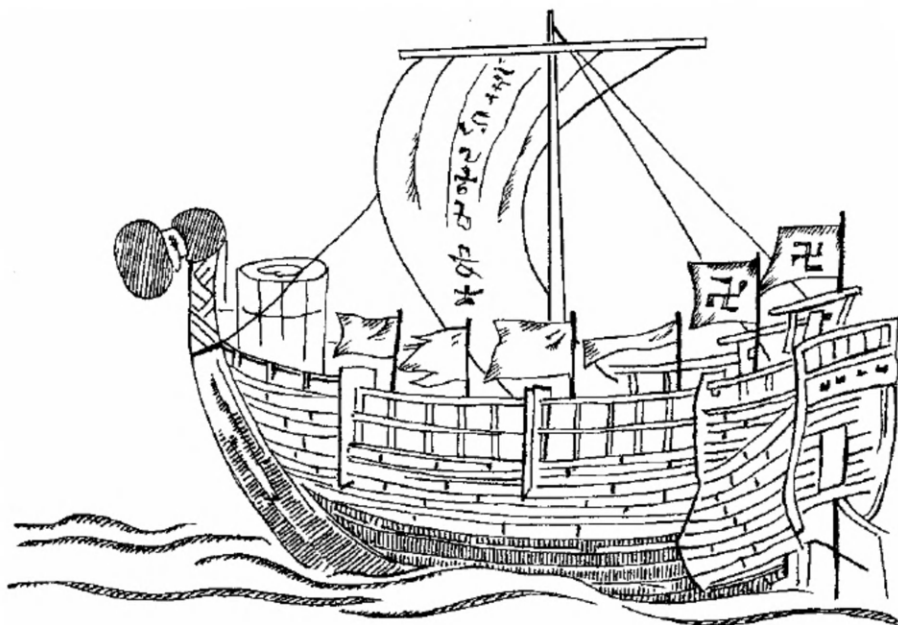
\* Для каждого умершего буддиста изготавливаются две поминальные таблички. Одна помещается в домашний алтарь, другая, обычно больше размером, хранится в храме, прихожанином которого был усопший, вместе с чашкой, в которую как приношение ежедневно наливается вода или чай. Почти во всех крупных храмах можно видеть тысячи таких табличек, расставленных ровными рядами, один над другим — и каждая табличка со своей чашкой перед ней, ибо считается, что чай пьют даже души усопших. Иногда, правда, о приношении забывают, я видел ряды чашек, в которых была одна лишь пыль — по вине, быть может, нерадивого служителя.

шего — *каймё* — или прочие слова, сообщающие о присущих ему добродетелях, наносятся золотыми буквами — *кэн-мудзи-сё-син-дзи*. Самые бедные, кто не может позволить себе столь изысканные таблички, довольствуются табличками без лакировки и позолоты; каймё иногда просто пишут черными иероглифами, но еще чаще на полоске белой бумаги, которую наклеивают на ихай рисовым клеем. Прижизненное имя может быть написано на оборотной стороне таблички. Такие таблички, само собой, накапливаются по мере смены поколений; и в некоторых домах они хранятся в огромных количествах.

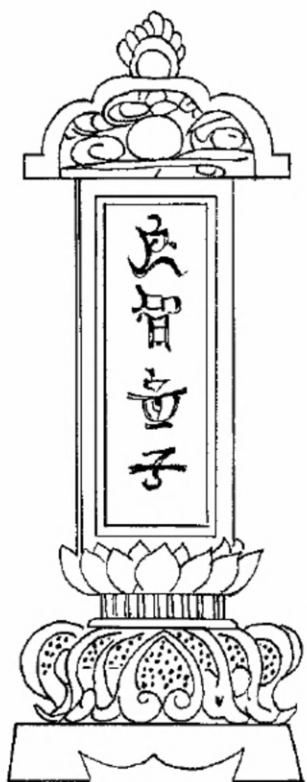
В Идзумо, а быть может и во всей Японии, до сих пор существует красивый и трогательный обычай, прежде у просвещенных сословий общепринятый. Когда муж умирает, изготавливаются — в случае, если жена решает более никогда не выходить замуж, — две таблички ихай. На одной золотыми иероглифами наносится каймё покойного, на другой — каймё здравствующей вдовы, но во втором случае первый иероглиф красного цвета, а все остальные — золотого. Эти таблички затем помещаются в домашний буцудан. Две такие же таблички с таким же начертанием иероглифов, но большей величины помещаются и в приходском храме, однако перед табличкой супруги никакая чаша не ставится. Красный иероглиф означает торжественное обещание оставаться верной памяти покойного. Более того, жена утрачивает свое прижизненное имя, и в кругу всех друзей и родственников после этого к ней обращаются, используя часть ее каймё — например, *Син-току-ин-сан*, что является сокращением более длинного и более возвышенного посмертного имени *Син-току-ин-дэн-дзё-тэйсо-дайси*\*. Совершенно такой же обет дает мужчина после смерти супруги, к которой он был сердечно привязан, — точно так же красный иероглиф на его ихай запечатлевает клятву верности. Но вдовца никогда не зовут по его каймё, как зовут вдову.

---

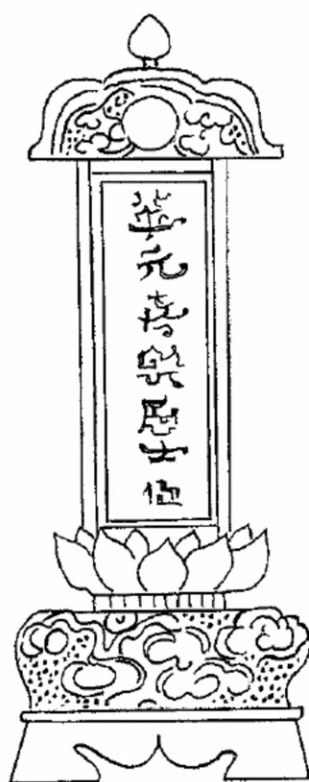
\* Это пример каймё самурайского сословия. Каймё самураев отличаются от каймё усопших из более скромных сословий. Японец, бросив лишь мимолетный взгляд на ихай, может сразу определить, к какому классу общества принадлежал покойный.



Сёрёбунэ — соломенный кораблик с именем усопшего



Ихай маленького мальчика



Ихай мужчины



Утром в доме буддистов исполняется религиозный долг — перед табличками усопших ставят маленькую чашечку чая, приготовленного на первовскипяченной воде. При этом говорится: «*О-Хотокэ-Сан-ни-о-тя-то-агэру*»\*. Кроме того, совершаются ежедневные приношения вареным рисом, в вазы алтаря ставят свежие цветы, и воскуривается фимиам (в синто он не дозволен). Ночью, а также днем во время определенных праздников, возжигаются свечи и масляная лампадка *ринто*, форма которой несколько отличается от лампадки синтоистского мия. Ежемесячно, в дату кончины усопшего, перед табличками накрывается маленькая трапеза, состоящая только из *сёринрёри* — вегетарианской пищи буддистов. Также, подобно тому как синтоистское семейное поклонение имеет свой особый ежегодный праздник, продолжающийся с первого по третий день нового года, буддистское поклонение предкам отмечает Боммацури — Праздник душ, — длящийся с тринадцатого по шестнадцатый день седьмого месяца. В это время буцудан всячески украшается, совершаются особые приношения пищей и цветами, и весь дом приводится в праздничный вид, чтобы достойно встретить приход призрачных гостей.

Синто, как и буддизм, имеет свои собственные ихай, но они, как правило, выполнены из самого простого материала — это обычные нелакированные дощечки, изготовленные из древесины вишни. Их средняя высота всего около восьми дюймов. Эти таблички либо помещаются в специальном алтаре, устроенном в отдельной комнате — не в той, где установлен алтарь ками, либо просто расставляются на полочке, называемой в народе *митама-сан-но-тама* — «полка досточтимых духов». Эта полка всегда располагается на значительной высоте в митамае или сорэйсе, точно так же, как в ином помещении мия ками. Иногда в синто вовсе обходятся без табличек, а имя просто пишут на деревянных частях алтаря. В синто нет каймё, и ихай несет на себе прижизненное имя покойного с добавлением слова «*митама*» (дух).

---

\* «Преподносим благоговейно чай досточтимым буддам». Буддисты надеются, если и не верят, что усопшие становятся буддами и, таким образом, избегают всех горестей и печалей последующего переселения душ. Поэтому выражение «почил в бозе» в японском языке часто передается фразой «сделался буддой».

Ежемесячно, в день даты смерти, совершаются приношения духам рыбой, вином и иной пищей, сопровождаемые особой молитвой\*. Митама-сан также имеют свои особые лампадки и цветочные вазы, и им также, хотя и в меньшей мере, воздаются почести ритуалами, подобными ритуалам, посвящаемым ками.

Молитвы, произносимые перед табличкой ихай и той, и другой веры, начинаются с почтительных религиозных формулировок синто или буддизма. Синтоист, хлопая в ладоши три или четыре раза\*\*, произносит сакраментальное *Хараи-тамаи...* («Очисти мою душу...») и в дальнейшем говорит лишь сердцем: «Духи высокочтимые наших далеких предков, Вы, праотцы поколений, и наших семей, и нашего рода, Вам, основателям наших домов, мы в этот день выражаем радость своей благодарности». Буддист, в зависимости от своей школы, шепчет *Наму-мё-хо-рэн-гэ-кё* («Слава сутре лотоса высшего закона...»), либо *Наму Амида-буцу...* («Преданность Амиде...»), либо какие-то иные священные слова, восхваляющие Будду. Слова, адресованные предкам, редко произносятся вслух как синтоистом, так и буддистом: они очень тихо нашептываются, а чаще произносятся про себя, лишь в глубине души.

## Х

С наступлением ночи в домах Идзумо лампадки богов и предков возжигаются либо доверенными слугами, либо кем-то из

---

\* Вовсе не предполагается, что усопшие будут потреблять какую-либо видимую пищевую субстанцию, подносимую им, ибо считается, что они пребывают в бесплотном состоянии. Идея состоит в том, что они поглощают лишь невидимую субстанцию пищи. И поскольку фрукты и иные подобного рода подношения утрачивают часть своего аромата, будучи в течение нескольких часов подвержены воздействию воздуха, это незначительное изменение в былые времена принималось за свидетельство того, что духи попиروвали. Образование неизбежно рассеивает эти утешительные иллюзии, а вместе с ними — и целый сонм нежных и прекрасных фантазий, касающихся отношений между живыми и мертвыми.

\*\* Я нахожу, что число хлопков несколько различается от провинции к провинции. На Кюсю хлопки в ладоши продолжают очень долго, особенно перед молитвой Восходящему Солнцу.

членов семьи. Ортодоксальные синтоистские правила требуют, чтобы лампадки заполнялись только чистым растительным маслом — *томоси-абура*; по традиции используется рапсовое масло. Однако среди бедных сословий наблюдается очевидная склонность заменять этот светильник старинного образца миниатюрной керосиновой лампой, что убежденные ортодоксы считают совершенно недопустимым. Даже возжигать лампадку спичкой они считают в некоторой степени еретичным, ибо спички, по их мнению, не всегда изготавливаются из чистых субстанций, а светильники *ками* должны возжигаться только наичистейшим огнем — тем священным природным огнем, который кроется во всем сущем. Поэтому в какой-нибудь кладовушке дома твердо-ортодоксальной синтоистской семьи непременно имеется маленький ларец со старинным огнивом, используемым для добывания священного огня. Оно включает в себя *хи-ути-иси* — «огонь-выбивающий-камень», *хи-ути-ганэ* — кресало; *хокути* — трут, сплетенный из сухого мха, и *цугэки* — лучинки из смолистой сосны. Маленький фитилек начинает тлеть после нескольких ударов кресала, затем раздувается огонь, от него лучинка, а от нее возжигаются лампадки предков и богов. Если в *мия* или на *камидана* представлены несколько великих божеств, то иногда для каждого из них возжигается отдельная лампадка.

Но в Идзумо, там, где спички все-таки полностью вытеснили огниво, ни в коем случае не применяются спички иностранного производства. Дело в том, что единственный местный изготовитель спичек весьма успешно доказал, что они содержат фосфор, «изготовленный из костей убиенных животных», а возжигать светильники *ками* столь нечестивым огнем — святотатство. В других районах Японии изготовители спичек ставят на коробках штамп: «*Сайкё го хондзон ё*» («Пригодно для использования высокочтимым храмом Сайкё»). Но чувство синтоистских ортодоксов в Идзумо оказалось слишком сильно, чтобы им хватило такой рекомендации, к тому же касающейся использования спичек в храме школы син-сю. Поэтому для них пришлось изобрести особую надпись. Ныне на спичечных коробках в Идзумо пишут: «*Чистые и пригодные к применению для возжигания светильников Ками или Хотокэ!*»

Неизбежной опасностью для всего сущего в Японии являются пожары. Традиционное правило состоит в том, что, когда дом занимается пламенем, в первую очередь выносят из огня, если только это возможно, изображения домовых богов и поминальные таблички предков. Даже говорят, что если они спасены, то и большая часть семейного добра непременно будет спасена, а если они будут утрачены, то и всё будет утрачено безвозвратно.

## XI

В семейном культе буддистов делается различие между домовыми хотокэ — душами тех, кто умер давно, и душами тех, кто упокоился совсем недавно. Эти последние называются *син-ботокэ*, «новые будды», или, более строго, «новоусопшие». С прямой просьбой о какой-либо сверхъестественной милости к син-ботокэ не обращаются, так как недавно отлетевшая душа, хотя ее тоже уважительно называют хотокэ, не считается достигшей положения будды; после смерти человека она лишь начала свой долгий путь к этому, и сама, быть может, более нуждается в помощи, нежели способна ее оказать. Поэтому среди глубоко верующих она является предметом нежной заботы, которая особенно проявляется, если умирает маленький ребенок, поскольку считается, что душа малолетнего слаба и подвержена множеству опасностей. Мать, обращаясь к покинувшей мир душе своего ребенка, будет давать ей советы, предостерегать ее, нежно руководить ею, как если бы она говорила с живым сыном или дочерью. Обычные слова, которые адресуются в домах Идзумо любому син-ботокэ, обретают в таком случае форму скорее заклинания или совета, нежели молитвы. Например:

*Дзёбуцу сэ (Дзёбуцу симасарэ)*. — «Стань же ты Буддой!»

*Маё-на ё*. — «Не сбейся с (истинного) пути!» («Не впади в заблуждение!»)

*Мирэн-о нокорадзу*. — «Не позволяй сожалению (об этом мире) оставаться с тобой!»

Эти слова никогда не произносятся вслух. Несколько более соответствует молитве фраза, произносимая адептами школы

син-сю в интересах син-ботокэ: *О-мукай кудасарэ Амида-Сама*. — «Удостой, Владыка Будда, своим милостивым приветствием [эту душу]».

Излишне говорить, что буддизм осуждает самоубийство. Тем не менее в Японии переживания и тревоги по поводу обстоятельств, в каковых оказалась душа покинувшего этот мир, часто приводят к самоубийству — или, во всяком случае, оправдывают таковое в глазах тех, кто принимает учение буддизма. Слуги убивали себя, будучи уверены, что, умерев, смогут давать советы и служить душе своего господина. Так в сочинении «Хогэн-моногатари»<sup>23</sup> слуга считает нужным заявить после смерти своего молодого хозяина:

«Через гору Сидэ, через призрачную реку Сандзу, кто переведет его? Если он испугается, разве не будет он призывать меня, как он привык это делать? Прочь сомненья — лучше будет, чтобы, убив себя, я отправился служить ему, как и прежде, нежели бездельем маяться здесь и горевать о нем понапрасну».

В буддистском домашнем культе молитвы, обращенные к семейным хотокэ — душам давно усопших, значительно отличаются от обращений к син-ботокэ. Ниже приводятся несколько примеров таких молитв; они всегда произносятся шепотом.

*Канай андзэн*. — «Спаси и сохрани нашу семью!»

*Энмэй сакусай*. — «Да будут нам долгие радости!» («Да не будет нам горестей!»)

*Сёбай хандзё*. — «Да будет нам процветание в делах!» (Возносится только купцами и торговцами.)

*Сисон тёки*. — «Да продлится наш род!»

*Онтэки тайсан*. — «Да рассеются наши недруги!»

*Якубё сёмэцу*. — «Да обойдут нас эпидемии!»

Некоторые из этих молитв творят не только буддисты, но и те, кто исповедует синто. Старые самураи также возносят особые молитвы:

*Тэнка тайхэн*. — «Да будет долгим мир во всем мире!»

*Бу-ун тёки*. — «Да будет нам постоянно удача в войне!»

*Ка-эй-мандзоку*. — «Да будет счастье нашему дому (нашей семье) во веки веков!»

Любые слова, возникшие по велению сердца, будь то просьба или выражение благодарности, могут, разумеется, повторяться многократно. Такие молитвы произносятся, или скорее мыслятся, в повседневном бытовом общении. Вот молитва, обращенная одной матерью в Идзумо к духу предка, к которому она воззвала ради своего больного ребенка:

*О-кагэ ни кодомо но бёки мо дзэнкай итасимаситэ, аригато годзаймас!* — «Милостью твоею болезнь моего ребенка миновала; прими же мою благодарность!»

«*О-кагэ ни*» означает буквально «в благородной тени». В этом японском выражении таится некое призрачное очарование, передать которое никакой перевод неспособен.

## XII

Таким образом, в домашнем культе Дальнего Востока усопшие силою любви превращаются в божеств; предвидение этого любовного обожествления должно уносить тревоги и утешать естественные печали старости. Никогда в Японии усопшие не предаются забвению столь быстро, как бывает у нас: силой простой веры они считаются по-прежнему живущими среди своих дорогих и любимых людей, а их место в доме навсегда остается священным. И престарелый патриарх, дни которого сочтены, знает, что любящие уста будут ночами нашептывать перед домашним алтарем молитву, посвященную его памяти, что преданные сердца будут просить его защиты в своих горестях, благословлять и одаривать его дух в своих радостях, что нежные руки будут ставить перед его ихай цветы и любимые им когда-то угощения, наливать для него в маленькую чашечку ароматный чай, какой подают только гостям, или янтарное рисовое вино.

Для него, как и для его отцов, маленькая лампадка будет гореть на протяжении многих поколений, и он видит в самых нежных грезах еще не рожденных детей детей своих детей, хлопающих в крошечные ладошки перед тем, как произнести молитву, и склоняющихся перед маленькой, запорошенной пылью табличкой, несущей незабвенное для них его имя.

## Два необычных праздника

I

Внешние проявления любого *мацури* — праздника в религии синто — способны привести в полное недоумение иностранца, впервые их увидевшего. А таковых множество, и все они разные — совершенно не похожие на какие-либо праздничные украшения, когда-либо виданные на Западе. Все они наделены значением, основанным на веровании или на традиции — значением, известным любому японцу, в том числе ребенку, но догадаться об этом значении совершенно немислимо для чужестранца. Тем не менее любой, кому хочется что-либо узнать о японской народной жизни и чувствах простых японцев, должен выяснить для себя значение хотя бы самых обычных праздничных символов и знаков. Особенно важно это знание для изучающего японское искусство: без него от понимания неизбежно ускользнут не только тонкий юмор и очарование бесчисленных рисунков, но во многих случаях и смысл этих рисунков неизбежно не будет постигнут.

Эмблемы праздничного народного веселья и ликования веками, изображенные самым изящным образом, присутствуют на изделиях из металла и фарфора, на красном и черном лаковом покрытии простейших предметов домашнего обихода, на маленьких латунных трубках, на застёжках табачных кисетов. Можно сказать, что большинство японских рисунков имеют символическое значение. И даже сюжеты, значение которых представляется наиболее очевидным, — те неподражаемые сюжеты\* животной и растительной жизни, с которыми лучше

---

\* Поскольку вошло в моду в рядах западных филистеров и самопровозглашенных искусствоведов насмехаться над любым писателем, с похвалой отозвавшемся о *реализме* японского искусства, я позволю себе привести здесь слова самого знаменитого из ныне здравствующих натуралистов Англии на эту тему, чей авторитет едва ли, полагаю, может быть поставлен под сомнение. Вот что говорит Альфред Рассел Уоллес (Альфред Рассел Уоллес (Alfred Russel Wallace; 1823—1913) — путешественник, географ, биолог и антрополог. — *Прим. перев.*): «...Есть обширная коллекция цветных рисунков растений

всего знаком западный собиратель редкостей, — как правило, заключают в себе смысл, который остается совершенно непонятым. Возьмите самый простой рисунок, набросанный кистью на *фусума* в дешевой гостинице — омар, молодые сосновые веточки, черепахи посреди водоворота, пара аистов, побег бамбука. Редко когда иностранному туристу приходит в голову поинтересоваться, почему здесь использованы именно эти сюжеты, а не какие-то иные, даже если за время своего путешествия он уже неоднократно видел их, с небольшими отличиями, в двух десятках различных мест. Они кажутся столь обычными только лишь потому, что символизируют что-то, смысл чего ясен любому японцу, каким бы необразованным он ни был.

Этой теме можно было бы посвятить целую энциклопедию, но для меня это задача непосильная. Я, пожалуй, ограничусь рассказом о любопытных предметах, которые выставляются на обозрение во время двух древних японских праздников.

## II

Первый — это праздник Нового года, который отмечается в течение трех дней. В Мацуэ он проходит особенно интересно, ибо старый город хранит традиции мацури, которые в иных местах уже либо полностью забыты, либо находятся на грани исчезновения. Улицы во время мацури богато украшаются, а все магазины закрываются. Симэнава, или *симэкадзари\**,

---

Японии, выполненных японской дамой, которые *представляют собой самые совершенные произведения, когда-либо мною виденные*. Каждый стебелек, побег и листок создан единственным взмахом кисти, при этом характер и общий вид крайне сложных растений передан изумительно точно, а сочленение стебля и листьев показано *в строжайшей научной манере* («*Malay Archipelago*», глава XX).

Следует отметить, что это было написано в 1857 году, до привнесения в Японию европейской манеры письма. Это же самое искусство изображения листьев и т. д. единственным взмахом кисти по-прежнему широко распространено в Японии — даже среди беднейшей категории оформителей.

\* Разница между симэнава и симэкадзари заключается в том, что симэкадзари не имеет мистического значения; это просто соломенная веревка, к которой прикреплено множество различных любопытных символов. Тем не менее иногда эти названия используются как синонимы.



служащие священными символами синто с незапамятных мифических времен, гирляндами вывешены вдоль фасадов и так соединены между собой, что и справа и слева вам видится сплошная симэнава в милю длиной, со свисающей соломенной бахромой и белыми колышущимися бумажными *гохэй*; она тянется по обе стороны улицы, насколько хватает глаз. Японские флаги — несущие на белом фоне огромный бордовый диск, служащий символом Страны восходящего солнца — колышутся над воротами; этот же национальный символ сияет на бесчисленных бумажных фонарях, вытянувшихся рядами вдоль карнизов, или поперек улиц и храмовых дорог. Перед каждым домом у ворот или у входной двери установлено *кадомацу*\* («приворотная сосна»). Так что все улицы и дороги обрамлены зеленью и ярко расцвечены.

Кадомацу — молодая сосенка или часть большой сосны в окружении веток сливы и побегов бамбука — означает нечто большее, чем можно судить по одному только названию. Сосна, слива и бамбук — это важные для японцев символы. Причем в древности таковой была только сосна, но в начале XV века добавился бамбук, а затем и слива.

У сосны имеется много значений. Прежде всего сосна символизирует выдержку и силу преодоления во времена бедствий. Подобно тому как сосна сохраняет свои зеленые иголки, когда другие деревья теряют листву, точно так же настоящий человек сохраняет свои мужество и силу в трудной ситуации. Сосна также является символом активной старости.

Бамбук обязан своим символическим значением одинаковому произношению — *сэцу* — двух разных китайских иероглифов; один обозначает сочленение бамбука, второй — достоинство, верность, постоянство. Именем Сэцу, заметим, довольно часто в Японии называют девочек — точно так же, как именами Faith (Вера), Fidelia (Верность) и Constance (Постоянство) называют девочек в Англии.

---

\* Есть буддистская поговорка о кадомацу, смысл которой в том, что каждый кадомацу — это лишь подорожный столб на пути в Страну Мрака, или, другими словами, что каждый праздник Нового года извещает лишь о завершении еще одного прогона в непрерывном путешествии к смерти.

О символическом значении сливового дерева я скажу позже, когда речь пойдет о японских садах. Впрочем, в кадомацу ветки сливы иногда заменяют ветками сакаки — священного дерева синто, а иногда обходятся без того и другого, обрамляя сосенку только бамбуком.

Каждое украшение, используемое при праздновании Нового года, обладает символическим смыслом удивительного и неожиданного свойства; та же соломенная веревка — симэнава — заключает в себе сложное символическое значение. Она может быть любой толщины, но при этом должна быть скручена так, чтобы направление скрутки было левосторонним, ибо согласно древней японской философии, левая — это «чистая», или счастливая сторона. Свисающие, подобно бахроме, пучки соломы, подвешенные на симэнава через равные промежутки, должны иметь, в зависимости от занимаемого положения, разное число соломин, начиная с числа три: таким образом, в первом пучке три соломины, во втором пять, в третьем семь, в четвертом опять три, в пятом пять, в шестом семь — и так далее, по всей длине веревки. Дело в том, что три, пять и семь считаются «хорошими» числами. Свисающие с симэнава полосы бумаги гохэй, чередующиеся с пучками соломы, символизируют древнюю традицию приносить богам дары материей, притом что сама такая традиция давно уже вышла из обихода.

Но помимо гохэй, к симэнава крепится еще много иных предметов, значение которых европеец вряд ли может себе представить без посторонней помощи. Среди них листья папоротника (*моромоки* или *урадзиро*), горькие местные апельсины (*дайдай*), листья *юдзури* и маленькие кульки с древесным углем (*суми*).

При чем здесь листья папоротника? Оказывается, лист папоротника служит символом надежды на многочисленное потомство: подобно тому как он состоит из множества отдельных листочков, так же может счастливое семейство увеличиваться и преумножаться на протяжении поколений.

Горькие апельсины здесь благодаря существованию китайского слова «дайдай», которое означает «из поколения в поколение». По этой причине фрукт дайдай стал символизировать доброе предзнаменование.

Что касается древесного угля, то он в японской символике означает «благополучное постоянство». Идея поистине любопытна: как цвет угля невозможно изменить, так и удача должна неизменно сопутствовать тем, кого мы любим, и приносить им счастье! О значении листа юдзури я скажу чуть позже, когда мы дойдем до японских садов.

Помимо большой симэнава на фасаде дома, симэнава вывешиваются над нишами токонома, которые есть в каждой комнате с камидана, а над задними воротами и над выходом на веранду второго этажа (если имеется второй этаж), вывешивается *вадзимэ*, представляющая собой очень маленькую симэкадзари, скрученную в своего рода гирлянду и украшенную листьями папоротника, гохэй и листьями юдзури.

Но главная роль в празднике принадлежит, разумеется, камидана и расположенному на ней алтарю мия. Перед домашним мия кладутся рисовые лепешки величиной вдвое больше обычных, а сам алтарь украшается цветами, крошечной симэкадзари и побегами сакаки. На него также кладут связку монет (многие японские монеты имеют отверстие посередине), *кабу* (репа), *дайкон* (редис), рыбу *тай\**, которая считается «королем рыб», тонкие полоски вяленой каракатицы, *дзимбасо\*\** («морская водоросль скакуна бога»), а также морскую водоросль *комбу*, которая служит символом удовольствия и радости, поскольку ее название — это омоним слова «веселье», и *мотибана* — искусственные цветущие ветки, сделанные из рисовой муки и соломы.

Праздник не обходится без *самбо* — маленького столика своеобразной формы, на котором совершаются приношения богам синто. В Идзумо почти каждое преуспевающее семейство имеет собственный самбо, но такой домашний самбо, как правило, меньше тех самбо, что используются в храмах.

---

\* Морской окунь, называемый тай, широко распространенный вдоль всего побережья Идзумо, не только справедливо высоко ценится, как самое изысканное японское рыбное блюдо, но также является символом счастья и удачи. Он служит церемониальным подарком при бракосочетаниях и в иных торжественных случаях.

\*\* Водоросль семейства саргассовых, другое ее название «морской виноград». Различные виды съедобных водорослей составляют изрядную долю японского рациона питания.

Накануне встречи Нового года самбо сервируется: на нем обязательно должны присутствовать апельсины дайдай, рис и лепешки из рисовой муки, омар, местные сардины (*иваси*), *тикара-ивай* («рисовый хлеб силы»), черные бобы (*мамэ*) и сушеные каштаны (*катигури*). Принято, чтобы каждый входящий в дом гость, приветствуя самбо земным поклоном, выражал свое почтение домашним богам семейства и желал, чтобы все удачи, которые символизируют лежащие на самбо предметы, пришли в эту семью.

Черные бобы символизируют телесную силу и здоровье, поскольку слово, произносимое сходным образом, но обозначаемое другим иероглифом, означает «крепкого сложения». С омаром связано весьма любопытное представление. Тело омара согнуто; тело человека, который дожил до очень преклонного возраста, также согнуто. Таким образом, омар служит символом глубочайшей старости, и в художественных изображениях означает желание, чтобы наши друзья прожили столь долго, чтобы согнуться подобно омарам — под грузом лет. Сушеные каштаны символизируют успех, ибо первый иероглиф в их названии — это омоним слова *кати*, означающего «победа», «преодоление».

Имеется, по меньшей мере, еще сотня символов, связанных с празднованием Нового года, для описания которых потребовался бы солидный том. Я упомянул лишь о самых популярных, которые привлекают к себе внимание даже случайного наблюдателя.

### III

Другой праздник, о котором я хочу рассказать, это *Сэцубун*, который, согласно древнеяпонскому календарю, соответствовал началу года в природе — времени, когда зима начинает смягчаться и переходить в весну. Его мы можем назвать словами профессора Чемберлена «кочующим праздником»; знаменит он главным образом любопытной церемонией изгнания демонов — *они-ярай*. Накануне праздника, с наступлением ночи, изгоняющий демонов *яку-отоси* ходит по улицам от дома к до-

му, постукивая своей *сякудзё\**, и деловито выкрикивает: *Они ва сото! Фуку ва ути!* (дословно: «Демоны снаружи! Счастье внутри!»); это означает «Демоны изыдите! Счастье войди!» В любом доме, куда его позовут, за ничтожнейшую плату он совершит свой маленький обряд изгнания нечистой силы, состоящий в декламации определенных отрывков буддистской сутры *кё* с постукиванием при этом *сякудзё*. После этого повсюду разбрасываются сушеные соевые бобы (*сиро-мамэ*). В силу какой-то таинственной причины, демоны не выносят сушеных бобов и разбегаются от них, как черти от ладана. Разбросанные бобы потом аккуратно собирают и бережно хранят до первого весеннего грома, после чего часть бобов варят и едят. С чем это связано мне объяснить не смогли; равно как не смог я раззнать причину нелюбви демонов к сушеным бобам. Впрочем, что касается этой нелюбви, то я вынужден признаться в своем согласии с демонами.

После того как демоны надлежащим образом изгоняются, над каждым входом в жилище прикрепляется небольшой оберег, который препятствует их возвращению. Его делают из маленького прутка, длиной и толщиной не больше шпильки, одного листика остролиста и головы вяленой иваси. Пруток с надетым на него листиком вставляется между брусками прямо над дверью, а на другом его конце закрепляется рыбья голова. Почему демоны боятся листа остролиста и рыбьей головы, этого, по-видимому, не знает никто. В народе происхождение всех этих любопытных обычаев совершенно забыто. Семьи из высших слоев, хотя и соблюдают эти обычаи, верят в связанные с ними суеверия столь же мало, как сегодняшние англичане верят в волшебные свойства белой омелы или плюща обыкновенного.

Веселый обычай ежегодного изгнания демонов был на протяжении многих поколений источником вдохновения для

---

\* Это особой формы посох, с которым обычно изображается божество Дзидзо. С ним часто ходят нищенствующие буддистские монахи. *Сякудзё* бывают разной величины. Тот, с которым ходят *яку-отоси*, как правило, очень короткий. Существует предание, что *сякудзё* поначалу появился как средство предостережения насекомых и прочих мелких созданий на пути буддистского паломника, дабы он нечаянно на них не наступил.

японских художников. Так что научиться ценить восхитительный юмор многих их произведений иностранец, для которого эти произведения необыкновенно привлекательны сами по себе, сможет, лишь вникнув в народные обычаи и представления. На днях мой друг подарил мне маленькую японскую визитницу из ароматизированной кожи. На одной ее стороне вытеснен лик демона, за широко зевающей пастью которого виден — нарисованный на внутренней шелковой подкладке — радостный лик пухлощеклой Отафуку, веселой богини счастья. Эта вещица и сама по себе любопытна и мила; но истинная ее суть заключается в исполненном юмора символическом изображении добрых новогодних пожеланий: «Они ва сото! Фуки ва ути!»

#### IV

Поскольку я уже заметил, что с первым весенним громом полагается съесть часть бобов, оставшихся с праздника Сэцубун, я позволю себе воспользоваться возможностью сказать несколько слов о суевериях, связанных с громом, которые по-прежнему бытуют в крестьянской среде и едва ли скоро исчезнут.

Когда начинается гроза, развешиваются большие коричневые москитные пологи, и женщины и дети — а быть может, и вся семья — рассаживаются на корточках под ними и остаются там, пока гроза не минует. С древних времен существует поверье, что молния не может убить никого, кто находится под москитным пологом — дескать, Райдзю<sup>24</sup> («громовой зверь») не может проникнуть сквозь москитный полог. На днях старый крестьянин, который продавал овощи, рассказывал, что он и всё его семейство, пережидая грозу под москитным пологом, своими глазами видели Райдзю, который носился вверх и вниз по балконной опоре напротив комнаты, где все они прятались, яростно терзал дерево когтями, но не в силах был проникнуть внутрь дома из-за москитных пологов. Дом крестьянина сильно пострадал от атмосферного разряда, но он искренне верил, что во всем виноваты когти «громового зверя».

Говорят, что Райдзю во время грозы прыгает с ветки на ветку; по этой причине стоять под деревьями, когда гремит гром и сверкает молния, очень опасно: «громовой зверь» может спрыгнуть на голову или плечи стоящего. Утверждается также, что он любит выедать человеческий пупок, и посему людям необходимо тщательно следить, чтобы их пупок был хорошо закрыт во время гроз и даже ложиться на живот, если это возможно. Во время гроз по возможности всегда воскуривается фимиам, так как «громовой зверь» ненавидит запах фимиама. Считается, что кора и древесина дерева, пострадавшего от когтей «громового зверя», обретают целебные свойства и помогают при зубной боли; поэтому люди их собирают и хранят.

Известно множество рассказов о том, как Райдзю бывал пойман и посажен в клетку. Говорят, что однажды «громовой зверь» свалился в колодец, запутался в веревках и бадьях и был схвачен живьем. Старожилы Идзумо помнят, как «громовой зверь», посаженный в бронзовую клетку, даже выставлялся на всеобщее обозрение во дворе храма Тэндзина в Мацуэ, и взглянуть на него стоило один сен. Райдзю был похож на барсука и, когда погода была ясная, всегда мирно спал в своей клетке. Но как только раздавался раскат грома, он приходил в сильнейшее возбуждение и, как всем казалось, обретал огромную силу, а его глаза сверкали подобно молниям.

## V

Существует злой дух, которому совершенно не страшны сушеные бобы и которого не засадить в клетку. Избавиться от него куда сложнее, нежели от обычных демонов. Имя ему — Бимбогами. В Идзумо, правда, людям известен один домашний амулет, которого Бимбогами боится.

Огонь на японской кухне раздувают с помощью весьма простого предмета под названием *хифукидакэ* («огня-дутья-бамбук»). Это бамбуковая трубка, обычно порядка трех футов длиной и диаметром примерно два дюйма. На одном ее конце — том, что обращен к огню, — оставляется совсем маленькое отверстие; женщина, готовящая пищу, подносит хифуки-

дакэ к губам и дует на тлеющие древесные угли, и уже через минуту-другую на кухне весело пляшет огонь.

Со временем хифукидакэ обгорает, растрескивается и становится непригодной для дальнейшего применения. Тогда изготавливается новая трубка, а старая используется как оберег против Бимбогами. В нее вкладывается медная монетка (*рин*), над ней произносится волшебное заклинание, а затем ее, с медным рином внутри, либо просто выбрасывают на улицу, либо кидают в ближний ручей. Это — по причине, мне неизвестной, — считается равносильным вышвыриванию за дверь Бимбогами, при этом возвращение становится для него невозможным в течение достаточно долгого времени.

Можно задаться вопросом, каким же образом обнаруживается невидимое присутствие Бимбогами?

Маленькое насекомое, издающее по ночам тикающий звук, называемое в Англии «стражем смерти»<sup>25</sup>, имеет своего японского сородича, прозванного в народе «бимбомуси» — «насекомое бедности». Говорят, что оно слуга Бимбогами, и его тиканье в доме свидетельствует о присутствии здесь этого самого нежеланного демона.

## VI

Еще одна примечательная особенность праздника Сэцубун, заслуживающая упоминания, — это продажа *хитогата* («людских форм»), которые представляют собой маленькие фигурки мужчин, женщин и детей, сделанные из белой бумаги. Они вырезаются несколькими ловкими взмахами ножниц, а на различие полов указывают различные формы рукавов и маленькие бумажные пояса *оби*. Хитогата продаются в синтоистских храмах. Покупатель приобретает по одной фигурке для каждого члена семьи, а жрец надписывает на них возраст и пол того, кому они предназначены. Полагается, чтобы тот, кому предназначена фигурка, слегка потер ее о себя и произнес при этом синтоистскую молитву. На следующий день хитогата возвращаются *каннуси* — человеку, отвечающему за содержание синтоистского святилища и поклонение ками, — и он, произнеся



над ними некое заклинание, сжигает их священным огнем\*. Этот ритуал совершается в уповании на то, что в течение года все телесные недуги будут обходить членов этого семейства стороной.

## Кицунэ

---

I

Путешествуя по Хонсю, в каждой старинной роще, на вершине почти любого холма и на окраине любой деревушки вы можете увидеть маленький синтоистский храм, перед которым или по обе стороны которого расположились каменные фигуры сидящих лис. Обычно таких фигур бывает две, и они смотрят друг на друга. Но их может быть и дюжина, и два десятка, и несколько сотен — правда, в последнем случае большинство фигур будут небольшими. Вы однажды поймаете себя на том, что всякий раз, когда пытаетесь припомнить увиденное сельское местечко, в каком-то закутке воспоминаний возникает пара позеленело-серых каменных лис с отбитыми носами. В моих собственных воспоминаниях о путешествиях по Японии эти фигуры — неременная принадлежность сельского ландшафта. В крупном городе во дворе какого-нибудь значительного храма можно увидеть несметное число каменных лис всевозможных размеров, рассеявшихся вокруг храма рядами по ранжиру многими тысячами, — от совсем игрушечных, в несколько дюймов высотой, до колоссов, постаменты которых возвышаются над вашей головой. Эти храмы и святилища посвящены Инари — божеству риса.

---

\* Я позволю себе упомянуть еще об одном предмете, никоим образом не связанном с праздником Сэцубун. В Идзумо бытует суеверие о святости писаний. Бумагу, на которой что-либо было написано или даже напечатано, нельзя мять, бросать под ноги, пачкать и использовать для любых иных надобностей. Если необходимо уничтожить какой-либо документ, бумагу надлежит сжечь. В одной маленькой гостинице, где я остановился, меня мягко пожурили за то, что я разорвал и скомкал какую-то бумагу, мною самим исписанную.

В Токио фигуры лис часто идеализированы, здесь они изящны, как борзые собаки. У них продолговатые зеленые глаза из кристаллического кварца или какого-то иного прозрачного материала, благодаря чему они производят неизгладимое впечатление. В глубинке изображения лис не столь артистичны. В Идзумо, в частности, они весьма примитивны. Здесь лисы на удивление многочисленны и разнообразны по своему виду — среди них изваяния смешные, причудливые, гротескные и даже страшные, но почти всегда они изваяны очень грубо. Но я бы не сказал, что по этой причине они не интересны. Пусть деревенские лисы Идзумо лишены изящества — они сработаны грубо, но зато выдают в бесчисленных необычных воплощениях личные фантазии своих творцов. Лисы пребывают в различных настроениях — эксцентричном, апатичном, любопытствующем, угрюмом, игривом, ироничном; они и посматривают, и подремывают, и поглядывают искоса, и подмигивают, и посмеиваются; они ожидают чего-то с блуждающими улыбками, они прислушиваются, наострив уши, и подслушивают украдкой, рты их приоткрыты или плотно закрыты. Все они неповторимы, изумительно индивидуальны; при этом у большинства насмешливое выражение на мордах, словно они понимают что-то недоступное людям, — даже у тех, носы которых отбиты. Эти древние сельские лисы обладают очарованием, которого лишены их токийские сородичи. Время набросило на них покровы красивых нежных оттенков, пока они, свысока взирая на человечество, восседали на своих постаментах, вслушивались в суетность проходящих столетий и загадочно усмехались. Их спины и ноги покрыты тончайшим зеленым бархатом древних мхов, а кончики хвостов расцвечены плесенью. Излюбленные места их обитания — это тенистые рощи, где певчие камышовки — *угуису* — рассыпают свои трели в зеленом сумраке над каким-нибудь безмолвным святилищем с его каменными фонарями и гротескными львами, настолько заросшими мхом, что кажется, будто они выросли прямо из земли.

Я пребывал в полном недоумении, пытаюсь понять, почему у многих — по крайней мере у девяти из десяти — лис носы отбиты. Главную улицу Мацуэ можно было бы из конца в ко-

нец замостить кончиками носов лис, покалеченных в Идзумо. В ответ на высказанное мною удивление, один мой друг ответил одним простым, но всё объясняющим словом *кодомо*, что значит «дети».

## II

Инари — имя бога-лиса — означает «мера риса». В древности он звался иначе. Инари — это великий дух пищи *Ука-но-ми-тама-но-микото* из свода «Кодзики»\*. Позже, однако, он стал носить имя, указывающее на его связь с культом лиса: *Микэцу-но-Ками* — Бог-Трех-Лисов. И действительно, представление о лисах, как о существах сверхъестественных, появилось в Японии, по-видимому, не ранее десятого или одиннадцатого века; хотя изваяния лис можно найти во дворах большинства крупных синтоистских храмов, следует отметить, что в пределах обширных владений древнейшего синтоистского храма Японии — Кицуки — ни одного такого изваяния нет.

В современном искусстве — в искусстве Тоёкуни<sup>26</sup> и иже с ним — Инари изображается в виде бородатого мужчины, который едет верхом на белом лисе\*\*.

Инари поклоняются не только лишь как богу риса; существует множество Инари, так же как в Древней Греции су-

---

\* *Тоё-укэ-бимэ-но-Ками*, или *Ука-но-ми-тама* (имеющая также еще восемь имен), является, согласно «Кодзики» и его комментаторам, божеством женского пола. Но я говорю об Инаре, как о божестве мужского пола, поскольку вижу, как он представлен на картинах и в резьбе. Хирата утверждает, что в синто нет такого бога, как Инари. Но поскольку простой народ в Инари верит, постольку он существует, и не только как предмет изучения фольклористов. Посвященный Инари огромный храм в Киото служит внушительным свидетельством в пользу этого.

\*\* Белый лис служит излюбленной темой японских художников. Лисы часто встречаются на старых цветных гравюрах, в настоящее время весьма редких и дорогих. Иногда лисы изображаются блуждающими в ночи, с колышущимися языками тусклого огня — *кицунэ-би* — над головами. Кончик лисьего хвоста как в скульптуре, так и в живописи, обычно украшается мистическим драгоценным камнем тама. Я обладаю одним какэмоно с изображением белого лиса со светящимся камнем в его хвосте. Я приобрел его в храме Инари в Мацуэ.

ществовало множество ипостасей у Зевса, Гермеса, Афины, Посейдона — одни у образованных людей, другие — в воображении простого народа. Инари обрел разные образы по причине многообразия своих отличительных черт. Например, в Мацуэ известен *Камия-Сан-но-Инари-Сан* — бог кашля и простуды. У него есть храм, где ему поклоняются и в надежде на излечение от болезни делают приношения в виде *тофу* — творога из сои, по виду очень напоминающего густой заварной крем.

В Оба имеется свой особый Инари, и очень знаменитый. На стене его святилища закреплен большой короб, заполненный маленькими глиняными лисами. Паломник, желающий обратиться к божеству с просьбой, кладет одну из этих маленьких фигурок себе в рукав и относит домой. Он держит ее у себя дома и воздает ей все надлежащие почести до того времени, пока его желание не будет удовлетворено. После этого он относит фигурку обратно в храм и вновь кладет в короб; кроме того, он должен — если, конечно, ему позволяет материальное состояние, — сделать какое-то приношение святилищу.

Инари часто поклоняются как целителю и еще чаще как божеству, во власти которого даровать благополучие и богатство, — быть может, поэтому в старой Японии всё богатство исчислялось в *коку*<sup>27</sup> риса. Изваяния лис при святилищах иногда держат во рту ключи — символ богатства.

В некоторых местностях из божества, дарующего богатство, Инари превратился в особое божество местных гетер *дзёро*. Например, достойный посещения храм Инари имеется в окрестностях Ёсивара<sup>28</sup> в Йокогаме. Он стоит в одном дворе с храмом Бэнтэн<sup>29</sup>. Пройти к нему можно через тории, которые различны по высоте — уменьшаясь в размерах по мере приближения к храму, они, пропорционально убыванию своей величины, расположены все ближе один к другому. Перед каждым тории — справа и слева — сидит пара причудливых фигур лис. Первая пара — большие, подобные крупным собакам, затем поменьше и далее — все меньше и меньше, сообразно уменьшению размеров тории. У подножия деревянной лестницы храма сидит пара очень изящных лис из темно-серого камня, шеи которых обмотаны кусками красной материи — это свидетельства данных кем-то обетов. На самой лестнице также по

обеим сторонам каждой ступени — белые деревянные фигуры лис, при этом каждая следующая пара меньше стоящей ниже; на пороге перед самым входом находятся две крошечные фигурки, не более трех дюймов высотой, восседающие на небесно-голубых постаментах. У этих двух лисичек кончики хвостов позолочены. Если заглянуть в храм, то слева можно увидеть нечто наподобие длинного низкого стола, на котором расставлены тысячи крохотных статуэток лис с белыми хвостами — еще меньше тех, что восседают при входе. На алтаре здесь можно увидеть обычные символы синто, а перед ним, прямо напротив входа, стоит подсвечник со стеклянными стенками и деревянным дном, из которого выступают острия гвоздей для закрепления на них возжигаемых обетных свечей\*.

Если вы задержитесь в этом храме ненадолго, то, быть может, увидите хотя бы одну симпатичную девицу с ярко накрашенными губами в красивом старинном наряде, носить который, однако, не пристало ни девушке, ни почтенной матроне. Она подойдет к подножию лестницы, бросит монетку в ящик для денег, стоящий возле входа, и воскликнет: «*О-росоку!*», что значит «Соблаговолите свечу!». В ответ на этот возглас из внутреннего покоя в святилище войдет старый служитель с горящей свечой, закрепит ее на штырьке в светильнике и возвратится в свою обитель.

Дзёро приходят сюда помолиться об удаче. Впрочем, этот храм почитается не только девушками из категории гетер.

### III

В Идзумо изображения лис, как представляется, превосходят числом таковые в других провинциях — здесь они служат символами чего-то еще, помимо культа божества риса. Более того, можно сказать, что древнее представление о божестве рисовых полей в Идзумо — по крайней мере в сознании низших сословий — затмил и почти что изгладил некий весьма необычный культ, чуждый духу чистого синто, а именно — культ Лиса. То есть культ слуги, каковым был для Инари Лис, почти полно-

---

\* У японской свечи имеется большое пустотелое бумажное основание, которое надевается на железный штырек.

стью заместил собой культ самого божества. Изначально Лис был Инари тем же, чем была Черепаха для Компира<sup>30</sup>, Крыса — для Дайкоку, Тай — для Эбису, Белая Змея — для Бэнтэн, Многоножка — для бога сражений Бисямона. Но с течением столетий Лис узурпировал статус божественности, и каменные изваяния — не единственные внешние свидетельства его культа. На тыльной стороне едва ли не каждого храма Инари вы обнаружите в стене, на высоте одного-двух футов от земли, идеально круглое отверстие порядка восьми дюймов в диаметре. Если вы найдете его открытым и заглянете внутрь, то, быть может, увидите приношения тофу и иной снедь, которую, как полагают, любят лисы. Вы также, скорее всего, обнаружите зерна риса, насыпанные на небольшой деревянный выступ ниже этой норы или рядом с ней. И вполне возможно, вам попадется какой-нибудь крестьянин, который хлопает в ладоши перед этой норой, произносит молитву и проглатывает одно-два рисовых зернышка, свято веря в то, что этим он либо излечится, либо уберется от какого-то недуга. Лис, которому предназначена эта нора, невидим, это лис-призрак. Но если он когда-нибудь пожелает показаться в своем видимом обличье, то его окрас будет снежно-белым.

Считается, что существует несколько видов лис-призраков. Но дальше начинается разноголосица. Одни знатоки вопроса убеждены, что насчитывается три их разновидности: полевой, или дикий, лис *кицунэ*, человек-лис и Инари-лис (*О-Кицунэ-Сан*). При этом многие смешивают *кицунэ* с человеком-лисом, в то же время есть и такие, кто отождествляет с человеком-лисом Инари-лиса. По мнению других, есть только два вида — Инари-лис и *кицунэ*. Некоторые идут еще дальше и подразделяют лис-призраков на высших и низших. По этой классификации существует четыре высших типа — *бякко*, *кокко*, *дзэнко* и *рэйко* — и все они обладают сверхъестественными силами.

Весьма сложно, если вообще возможно, разобраться в путанице этих верований, глубоко укоренившихся в крестьянской среде. К тому же эти верования различаются в зависимости от местности. Я, прожив четырнадцать месяцев в Идзумо, где эти суеверия особенно сильны и отмечены некоторыми особенными чертами, составил нижеследующее краткое их обобщение.

Все лисы обладают сверхъестественной силой. Есть хорошие и плохие лисы. Инари-лис хороший, и плохие лисы боятся Инари-лиса. Самый плохой лис — это *Нинко* или *Хито-кицунэ* (человек-лис): ему присущи особенные демонические качества. Он не больше куницы и иногда полностью повторяет ее облик, если не считать хвоста, который у него обычный лисий. Его редко видят, поскольку он остается невидимым для всех, кроме тех, в чьем доме поселяется. В дома, где о нем хорошо заботятся, он приносит процветание и достаток. Он сделает все, чтобы рисовые поля никогда не нуждались в воде, а котел, в котором варят еду, — в рисе. Но если его обидеть, он принесет в дом несчастье и погубит урожай. Дикий лис *Ногицунэ* также плохой. Он чародей и предпочитает вводить людей в заблуждение своей магией, а иногда, ко всему прочему, в них вселяется. Он обладает волшебной силой принимать любое обличье и становиться невидимым, но собаки всегда видят его, и поэтому он чрезвычайно боится собак. Более того, когда он пребывает в каком-то ином обличье, то, если его тень упадет на воду, на воде отразится только тень лиса. Крестьяне при первой возможности убивают его, но убийца лиса подвергает себя опасности быть околдованным как его сородичами, так и духом *ки* самого этого лиса. Защититься от этой угрозы можно достаточно просто: поев лисьего мяса. Ногицунэ также обитает в домах и иногда даже уживается под одной крышей вместе с Нинко. Считается, что, если Ногицунэ доживает до ста лет, то он становится совершенно белым и обретает ранг Инари-лиса.

С этими верованиями связаны курьезные противоречия, и с ними читателю придется как-то смириться, если он их обнаружит на следующих страницах. Вообще дать определение лисьему суеверию весьма трудно, и не только по причине запутанности представлений на этот предмет у самих верующих, но также и по причине разнообразия элементов, из которых оно сформировалось. Его происхождение — китайское; но в Японии оно удивительным образом слилось с поклонением синтоистскому божеству, а затем вновь было изменено и расширено буддистскими понятиями о волшебстве и магии. Что касается простых людей, то можно с уверенностью сказать, что они поклоняются лисам главным образом потому, что они их боятся. Крестьянин, как и прежде, поклоняется тому, что его страшит.

## IV

Сохранилось письмо Хидэёси<sup>31</sup> богу лису с жалобой на лиса-демона Нинко. Это письмо и сейчас хранится в Нара, в буддистском храме Тодай-дзи:

Киото, семнадцатый день третьего месяца.  
Инари Даймёдзину

Милостивый Государь.

Имею честь сообщить Вам, что один из лисов в Вашем подчинении околдовал одну из моих служанок, чем навлек на нее и прочих множество бед. Я вынужден настаивать, чтобы Вами было проведено тщательное дознание по этому делу и приняты меры к установлению причины столь вопиющего поведения вашего подданного, а мне было также сообщено об исходе такового.

Если выяснится, что этот лис не имеет надлежащей причины в оправдание таких действий, Вам надлежит незамедлительно взять его под стражу и примерным образом наказать. Если же Вы не поспешите принять меры по сему делу, я принужден буду издать указы об истреблении всех лис в этой стране.

Все иные обстоятельства, о которых вы можете пожелать быть поставленным в известность касательно случившегося, вы можете узнать у верховного жреца Ёсида.

Приношу свои извинения за все огрехи этого письма  
Имею честь оставаться Вашим покорным слугой.

Хидэёси Тайко

У самураев Идзумо Инари был божеством весьма чтимым; до сих пор в саду почти каждого старого самурайского жилища в Мацуэ можно видеть небольшое святилище Инари Даймёдзина с маленькими каменными лисами, сидящими перед ним. В представлении низших сословий у всех самурайских семей был свой лис. Но самурайские лисы не внушали никакого страха. Они считались «хорошими лисами», и не похоже, чтобы в феодальную эпоху суеверие о демонических качествах Нинко или Хито-кицунэ каким-либо невыгодным образом



сказывалось на самурайских семьях в Мацуэ. Но со временем, когда нередко стали браки дворян сидзоку с *тенин* — людьми из торгово-ремесленных классов, среди которых такое предубеждение всегда было сильно, — некоторым семьям все-таки пришлось из-за этого суеверия пострадать.

Самыми крупными *кицунэ-моти* («лисовладельцами») крестьяне считали Мацудайра — даймё Идзумо. Верили, что один из них отправлял лис как гонцов в Токио (следует отметить, что согласно народным поверьям, лис способен добратся от Иокогамы до Лондона за считанные часы). В Мацуэ рассказывают историю о лисе, попавшем в капкан\* возле Токио; к его шее было привязано письмо, написанное князем Идзумо утром того же дня. Посвященный Инари великий храм на землях Мацудайра — О-Сирояма-но-Инари-Сама — с его тысячами и тысячами каменных лис, крестьяне считают красноречивым свидетельством почтения, которое демонстрировал этот род, но вовсе не Инари, как можно подумать, а именно лисам.

Ныне невозможно установить родовые различия в этой призрачной зоологии, где каждый вид эволюционирует во все иные. Если спросить крестьян из провинции Идзумо, молятся они Инари как злему или как доброму божеству, то они, несомненно, скажут, что Инари добрый и что лисы тоже добрые. Но при этом расскажут не только о белых, но и о темных лисах, не только о лисах, которых следует почитать, но и о лисах, которых следует убивать, о добром лисе, который кричит *кон-кон*, и о злом лисе, который кричит *кай-кай*. И о том, что крестьянин, одержимый лисом, выкрикивает: *Я Инари — Ямабусино-Инари!*..

## ∨

Лис-демонов страшатся в Идзумо, особенно в силу трех дурных обыкновений, им приписываемых. Во-первых, они силой колдовства вводят людей в заблуждение — в отместку за что-либо,

---

\* Считается, лис-гонец в пути невидим. Но если он попадает в капкан или бывает ранен, то колдовская сила его оставляет, и он становится видимым.

либо просто из озорства. Во-вторых, когда они становятся домашними слугами в какой-нибудь семье, из-за этого терпят ущерб соседи. В-третьих, — и это наихудшее — они вселяются в людей и мучительно доводят их до сумасшествия. Эта беда именуется *кицунэ-цуки*.

Излюбленное обличье, принимаемое лисами-демонами, — это образ красивой женщины; намного реже принимается облик юноши. Несть числа рассказам о коварстве женщин-лис. Поэтому тех женщин, что обольщают мужчин ради того, чтобы завладеть их добром, в народе называют *кицунэ*, и это считается смертельным оскорблением.

Правда, есть и такое мнение, что лисы никогда не принимают человеческий облик, — они лишь вводят людей в заблуждение посредством своей гипнотической силы и магии.

Не всегда во всем этом присутствует злой умысел. Есть несколько рассказов и одна действительно чудесная пьеса о лисе, принявшей облик красивой женщины, вышедшей замуж за человека и родившей ему детей — всё это в благодарность за какое-то оказанное благодеяние; впрочем, семейное счастье этой пары омрачалось хищными пристрастиями их потомства.

Вообще у *кицунэ* есть много способов добиться цели. Так, мужчин, которые не склонны поддаваться женским чарам, они могут заставить видеть, слышать или воображать себе всё, что они пожелают. При необходимости они даже могут вызвать прошлое и открыть будущее. Порой их могущество едва ли не безгранично; например, несколько лет назад лис отправил мчаться по Токайдской железной дороге поезда-призраки, приведя этим в великое смятение и до смерти напугав машинистов. Но такое бывает нечасто — как и все демоны, лисы предпочитают уединенные места. Ночью они развлекаются, вызывая необычные призрачные огни\*, которые мелькают наподобие горящих фонарей и грозят человеку гибелью. Чтобы уберечься от этих огней, необходимо сложить руки, оставив между перекрещенными пальцами просвет ромбической формы; подув через это отверстие в направлении колдовского

---

\* Блуждающие огни, например на болоте, называются *кицунэ-би* — «лисий огонь».

огня и прочитав буддистское заклинание, можно загасить его на любом расстоянии.

Но не только в ночное время демонстрируют лисы свою склонность к дурным проделкам. Среди белого дня лис может искусить вас либо просто напугать, чтобы вы пошли туда, где непременно найдете свою погибель. Так, он может заставить вас вообразить, что началось землетрясение и необходимо бежать из помещения. Зная обо всем этом, крестьянин старого закала, когда происходит что-либо необычное, не спешит верить глазам своим. Самым ценным свидетелем потрясающего извержения вулкана Бандай в 1888 году, разнесшего огромную гору на малые фрагменты и опустошившего территорию площадью двадцать семь квадратных миль, ровняя с землей леса, оборачивая реки вспять и погребая под слоем камней и пепла окрестные деревни с их жителями, — был старый крестьянин, который наблюдал весь этот катаклизм с вершины соседней горы столь же невозмутимо, как если бы он смотрел нечто, происходящее на театральных подмостках. Он увидел черный столб пепла и пара, поднимающийся на высоту двадцати тысяч футов и на самом верху расползающийся во все стороны в форме зонта, заслоняющего солнце. Затем на него излился странный дождь — горячее, чем вода горячих источников. Затем всё почернело, и он почувствовал, что гора под ним ходит ходуном, и услышал раскат грома такой чудовищной силы, что казалось, будто бы весь мир рушится. Но крестьянин сохранял олимпийское спокойствие, ибо твердо знал, что всё им видимое и слышимое — это всего лишь наваждение, насланное колдовством какого-то лиса.

## VI

Умопомешательство тех, в кого вселяются лисы-демоны, выглядит следующим образом. Иногда они бегают нагими по улицам и громко кричат. Иногда они падают на землю с пеной у рта и тьявкают, как лисы. Часто под кожей у одержимого появляется блуждающее вздутие, которое как бы живет своей собственной жизнью. Никакой самой сильной рукой невозможно ухватить его столь крепко, чтобы удержать на месте — оно все равно проскользнет меж пальцев. Одержимые демонами

могут говорить и писать на языках, которых они совершенно не знали прежде. Едят они только то, что согласно поверью любят лисы — тофу, *абурагэ\**, *адзукимэси\*\** и т. п. — и едят они очень много, говоря обычно, что сами они есть не хотят, а вселившиеся в них лисы очень голодны.

Не так уж редко случается, что жертвы одержимости лисами подвергаются жестокому обращению со стороны своих родственников, которые безжалостными методами пытаются изгнать из них лиса-демона. На помощь также нередко призывается хоин или *ямабуси\*\*\** — заклинатель. Он вступает в спор с лисом, который говорит устами одержимого. Когда лис под напором доводов о безнравственности его поведения сдаётся, он обычно соглашается изойти, но ставит условие, что будет снабжен в изобилии тофу и другой пищей и что эта снедь будет тотчас доставлена в тот храм Инари, служителем которого этот лис себя объявляет. Дело в том, что лис-одержитель, кем бы он ни был наслан, как правило, признаётся, в службе какому-то определенному Инари, хотя при этом порой и называет самого себя божеством.

Говорят, что тот, кто был однажды одержим лисом-демоном, никогда больше не сможет есть тофу, *абурагэ*, *адзукимэси* и вообще всю ту еду, которую любят лисы.

## VII

Существует убеждение, что увидеть Хито-кицунэ невозможно. Но если он подойдет близко к спокойной воде, то на водной глади отразится его тень. Поэтому считается, что «владеющие лисами» стараются не бывать вблизи рек и водоемов.

---

\* Абурагэ — поджаренное тофу.

\*\* Адзукимэси — кушанье из красной фасоли, сваренной с рисом.

\*\*\* Хоин или ямабуси — буддистский заклинатель, как правило, жрец. Строго говоря, хоин — это ямабуси более высокого ранга. Наряду с изгнанием злых духов ямабуси также занимались предсказаниями. Нынешним правительством им запрещено практиковать эту деятельность, и большинство маленьких храмов, в которых они ранее располагались, исчезли или пришли в упадок. Но в крестьянской среде буддистского заклинателя по-прежнему призывают на помощь.

Невидимый лис, как и обычный японский слуга, принадлежит семейству. Но если дочь из такого семейства выходит замуж, то лис не только переходит в новую семью вслед за молодой женой, но также и расселяет свой род по тем семьям, которые родством или свойством связаны с семьей мужа. Полагают, что каждый лис имеет семью из семидесяти пяти едоков — ни больше и ни меньше семидесяти пяти — и всех их нужно прокормить. Таким образом, пусть даже лисы, будучи призраками, едят очень мало, владеть лисами — удовольствие весьма недешевое. Кицунэ-моти должны кормить своих лис в установленные часы, причем лисы, все семьдесят пять, всегда едят первыми — раньше своих владельцев. Как только в кама — большом железном варочном котле — сварится рис семьи, кицунэ-моти громко стучит по стенке котла. Услышав стук, лисы поднимаются сквозь пол. И хотя они едят неслышимо для людских ушей и невидимо для людских глаз, рис всё же медленно убывает. По этой причине для бедного человека владеть лисами — невысказанное дело.

Впрочем, расходы на кормление лис — это наименьшее зло для тех, кто их держит. Лисы не имеют строгого морального кодекса, и за ними закрепилась репутация ненадежных слуг. Они могут поспособствовать процветанию и достатку в семье, но стоит обрушиться на нее какому-то великому несчастью, которому эти семьдесят пять невидимых слуг не сумеют помешать, как они тут же сбегут, прихватив с собой все семейные ценности. Также надо знать, что замечательные подарки, которые лисы приносят своим хозяевам, — это вещи, у кого-то украденные. Поэтому держать лис крайне безнравственно. Будучи демоном, лис не даст себе труда соблюсти правила и приличия, принятые среди людей. Предосторожность ему также чужда. Он может ночью украсть у ближайшего соседа кошелек и оставить его на пороге дома своего хозяина, так что если соседу случится проснуться первым и увидеть свой кошелек у чужого дома, то дело скорее всего примет неприятный оборот.

Еще одно дурное обыкновение лис — это разглашение того, что они услышали в доме кицунэ-моти, и самоуправные действия, приводящие к скандалам. Например, лис, прилепившийся к семье Кобаяси-сан, слышит жалобы своего хозяина

на соседа Накаяма-сан, которого он втайне недолюбливает. Желая сделать приятное своему владельцу, ревностный слуга тут же мчится в дом Накаяма-сан, вселяется в его тело и нещадно его мучает, приговаривая при этом: «Я слуга Кобаяси-сан, которому ты причинил такое-то и такое-то зло, и, пока он не прикажет мне изойти, я не прекращу тебя мучить».

И последняя — но и наихудшая — из всех опасностей владения лисами, это то, что они могут прогневаться на какого-то члена семьи. Лис, сделавший богатым дом, в котором он поселился на постоянное жительство, кажется его владельцу добрым другом. Но поскольку он не человек и его побуждения и чувства не человеческие, а демонические, весьма легко оказаться у него в немилости. В самый неожиданный момент он может оскорбиться без всякого данного ему повода, и излишне даже говорить, какие могут быть у этого последствия. Ведь лисы обладают *тэн-ган* — «всевидящим оком», и *тэн-ни-цун* — «всеслышащим ухом», и *та-син-цун* — «знанием самых сокровенных мыслей других», и *сиюку-мэй-цун* — «познанием прошлого», и *дзин-кьян-цун* — «познанием вселенского настоящего», а кроме того умеют превращаться в кого угодно. Так что даже не прибегая к помощи каких-то особых колдовских сил, они сами по себе существа почти что всемогущие в сотворении зла.

## VIII

В силу всех этих и, несомненно, еще многих иных причин людей, которые слынут лисовладельцами, стараются избегать. Сознательно взять жену из семьи-лисовладельца — дело для многих невыносимое, и многие красивые и достойные девушки в Идзумо не могут найти себе мужа из-за всеобщей убежденности в том, что их семьи дают пристанище лисам. Как правило, девушки из Идзумо избегают выходить замуж за пределами своей собственной провинции, но у дочерей *кицунэ-моти* ситуация иная: они либо выходят замуж за молодых людей из семей таких же *кицунэ-моти*, либо находят себе мужей вне Идзумо. Богатые семьи-лисовладельцы не испытывают особых трудностей в устройстве судеб своих дочерей, но для менее состоятельных *кицунэ-моти* это серьезная проблема, и не всем ее

удается решить; поэтому многие девушки обречены оставаться незамужними.

При этом молодых людей, окончивших государственные школы и не верящих в лис-демонов, хватает. Но в сельских районах довольно трудно бросать вызов народным суевериям. Ведь последствия такого вызова придется испытать на себе не только молодому супругу, но и всей его семье и даже всем семьям, которые так или иначе связаны с нею. Об этом невозможно не задуматься!

## IX

Вера в лисов сказывается не только на людях; она отражается и на земельно-имущественных отношениях. Ее влияние на стоимость недвижимости в Идзумо может исчисляться в сотнях тысяч иен.

Землю семьи кицунэ-моти невозможно продать по справедливой цене. Люди боятся покупать ее, поскольку верят, что лисы могут разорить нового владельца. Трудность найти покупателя наиболее велика в случае, если это земля в горной местности, террасированная под рисовые поля. Основной потребностью такого рода земледелия является вода — полив осуществляется посредством сотни хитроумных приспособлений и всегда с необходимостью преодолевать множество препятствий. Бывают сезоны, когда воды крайне мало и дело доходит даже до драк за воду между крестьянами. Поэтому у людей возникает страх, что лиса-призрак бывшего владельца земли может отвести воду от одного поля и направить на другое или разрушить запруды и таким образом погубить урожай.

Нет недостатка в просвещенных людях, использующих в своих интересах это суеверие. Один господин из Мацуэ, хороший агроном и государственный служащий, пятнадцать лет назад, сыграв на страхе местных жителей перед лисами, приобрел на востоке Идзумо большой участок земли, на который не нашлось никаких иных претендентов. Стоимость этой земли с тех пор выросла шестикратно, не говоря уже о богатых урожаях, снимаемых на ней; продав эту землю сейчас, он может выручить за нее целое состояние. Что любопытно, его

успех снял заклятие с этой земли, и теперь уже никто не верит, что здесь обитают лисы-призраки. Но тут надо заметить, что в представлении крестьян сила этого человека заключена в его положении «государственного человека». Для крестьянства слово «государство» равносильно оберегу.

При этом самый богатый и самый успешный землевладелец Идзумо, состояние которого оценивается во многие тысячи иен — Вакури-сан из Тиномия в Кандэгори, — в крестьянской среде почти единодушно принимается за кицунэмоти. В народе о нем рассказывают занятные истории. Некоторые говорят, что, будучи еще очень беден, он однажды нашел в лесу маленького белого лисенка, забрал его к себе домой и заботился о нем, давая ему вдоволь тофу, адзукимэси и абурагэ — три кушанья, столь любимых лисами, и что с того самого дня к нему пришли процветание и достаток. Другие рассказывают, что в его доме имеется особая гостиная для лис и что раз в месяц в ней устраивается грандиозное пиршество для сотен Хито-кицунэ. Но Тиномия-но-Вакури может позволить себе смеяться над этими рассказами. Сам он человек просвещенный и весьма уважаемый в культурных кругах, куда суевериям вход заказан.

## Х

Когда некий Нинко ночью придет к вашему дому и постучится, этому стуку будет свойственно особое глухое звучание, по которому вы сразу определите, что это лис. Дело в том, что лис стучит в дверь хвостом. Но если вы откроете, то увидите не лиса, а мужчину или, быть может, красивую девицу, и говорить с вами будут какими-то обрывками слов, что, однако, не мешает вам прекрасно понять всё сказанное. Лисы не могут выговаривать слова полностью и поэтому говорят: «Нись... са...» вместо «Нисида-сан», «дэ годз...» вместо «дэ годзаимас», «уть... дэ...» вместо «ути дэс ка?» Пообщавшись таким образом с вами, посетитель (или посетительница) преподнесет вам небольшой подарок и сразу же исчезнет во мраке ночи. Каким бы ни был этот подарок, ночью он будет казаться вам намного значительней, чем при свете дня. Ибо только какая-то часть подарка лиса — настоящая.



Один сидзоку в Мацуэ, возвращаясь ночью домой по улице Хиромати, увидел лису, во всю прыть спасающуюся от преследующих ее собак. Он отогнал собак зонтом, дав тем самым лисе возможность скрыться. Вечером следующего дня он услышал стук в дверь и, открыв ее, увидел стоящую на пороге очень красивую девушку, которая сказала так: «Прошлой ночью я, несомненно, погибла бы, если бы вы не снизошли проявить свою доброту. Даже не знаю, как я могла бы достойно отблагодарить вас, — вот лишь маленький ничтожный подарок». Она положила к его ногам небольшой сверток и удалилась. Сидзоку развернул сверток и обнаружил в нем двух прекрасных уток и две серебряные монеты — те самые продолговатые тяжелые монеты листовидной формы, каждая стоимостью десять или двенадцать долларов, за которыми сейчас так рьяно охотятся все собиратели древностей. Через некоторое время одна из монет у него на глазах превратилась в пучок травы; но со второй ничего подобного не произошло.

Сугитэйан-сан, врач из Мацуэ, однажды вечером был приглашен принять роды в каком-то доме за городом, на холме под названием Сирага-яма. Проводником ему служил слуга, несший фонарь, на котором был изображен аристократический герб. Они зашли в великолепный дом, где его встретили с подчеркнутой самурайской вежливостью. Роженица благополучно разрешилась от бремени чудесным мальчиком. Семья угостила врача прекрасным обедом, развлекая его в самой изысканной манере, и отправила домой, щедро заплатив и нагрузив подарками. Но на следующий день он не смог найти этот дом — и, действительно, на Сирага-яма нет ничего, кроме леса. Вернувшись домой, он еще раз осмотрел золотые монеты, которыми ему заплатили. Все они были в порядке, кроме одной монеты, которая превратилась в жухлую траву.

## XI

Бывали случаи, когда суевериями, связанными с богом лисом, злоупотребляли самым неожиданным образом.

Несколько лет тому назад в Мацуэ процветала *тофуя*, у которой не было отбоя от посетителей. Тофуя, как можно догадаться, — это заведение, где продается тофу.

Известно, что из всего съестного лисы больше всего любят тофу и *соба*, которая готовится из гречихи. Рассказывают, что один лис, в образе элегантно одетого мужчины, однажды зашел в Ного-но-Курихара-я — *собая* на берегу озера, где всегда было полно посетителей, и съел изрядное количество соба. Но после того, как этот посетитель ушел, деньги, которыми он расплатился, превратились в древесные стружки.

Но с владельцем этой тофуя приключилась совсем иная история. Один одетый в рубище человек взял за обыкновение приходить в это заведение, покупать на один тё тофу и поглощать его с такой жадностью, словно только что прибыл из голодного края. Так он делал каждый вечер, на протяжении многих недель, и при этом ни разу не обмолвился ни единым словом. Но однажды вечером хозяин заметил кончик пушистого белого хвоста, выбивающийся из-под лохмотьев незнакомца. Это открытие пробудило в нем фантастические догадки, и он начал всячески обхаживать необычного посетителя. Но прошел еще месяц, прежде чем тот заговорил:

— Хотя я вам кажусь человеком, я вовсе не человек. Я принимаю человеческий облик, только когда намереваюсь прийти к вам. А прихожу я с Така-мати, где находится мой храм, часто вами посещаемый. Искренне желая вознаградить вас за добродетельность и великодушие, я пришел сегодня вечером, дабы уберечь вас от великой беды. Ибо благодаря чудесному дару, которым я наделен, мне стало доподлинно известно, что завтра на этой улице случится пожар, и все дома на ней будут полностью уничтожены огнем — все, кроме вашего. Чтобы спасти его, я собираюсь произнести заклинание. Но чтобы я мог его произнести, вы должны открыть мне свою кладовую и не позволить никому следить за мной, поскольку кому-нибудь хоть краем глаза увидеть, что я делаю, и мое заклинание утратит свою чудесную силу.

Лавочник, рассыпаясь в благодарностях, открыл кладовую и с подобающей почтительностью впустил туда мнимого Инари, а кроме того велел, чтобы никто из его домочадцев или слуг не сторожил дом в эту ночь. Это его указание было исполнено неукоснительно; в результате все запасы, хранившиеся в кладовой, и заодно с ними все ценности, бывшие в доме, были

украдены. То, что кладовая совершенно пуста, обнаружилось только утром. А никакого пожара так и не произошло.

Доподлинно известна история, приключившаяся с другим состоятельным лавочником из Мацуэ, также ставшим легкой добычей самозваного Инари. Этот Инари сообщил ему: сколько бы денег он ни оставил в некоем мия с наступлением ночи, утром там окажется сумма вдвое больше — в награду за его благочинную и добродетельную жизнь. Лавочник несколько раз относил небольшие суммы денег в мия и в самом деле утром, по прошествии двенадцати часов, находил их там приумножившимися вдвое. Тогда он начал оставлять более крупные суммы, которые таким же образом увеличивались; он даже решился рискнуть суммой, эквивалентной нескольким сотням долларов, и она также удвоилась. Наконец, он забрал из банка все свои деньги, вечером оставил их в мия — и уже более никогда их не видел.

## XII

Обширна литература, посвященная лисам-призракам. Самая ранняя ее часть относится к одиннадцатому веку. В старинных героических и современных бульварных романах, в исторических преданиях и в фольклоре лисы исполняют удивительные роли. Среди историй о лисах-призраках есть разные, в том числе очень грустные и даже ужасные. Некоторые из них послужили предметом дискуссий для самых выдающихся японских ученых мужей. Но многие воспринимаются, скорее, как сказки; они известны любому ребенку в Японии. Таков, например, рассказ о Тамамо-но-Маэ, прекрасной фаворитке императора Коноэ<sup>32</sup>, которая в конце концов оказалась «лисой-демоном о девяти хвостах и в золотых мехах». Весьма интересное отражение легенды о лисах-демонах нашли в драматургии.

Ниже я привожу отрывок из сочинения «Токайдотю хидзакуригэ» («На своих двоих по Токайдо») знаменитого писателя Дзиппэнся Икку<sup>33</sup>:

[Кидахати и Ядзи идут из Эдо в Осаку. Когда они уже приближаются к Акасаке, Кидахати прибавляет шагу и уходит вперед, чтобы

договориться о ночлеге в самой лучшей гостинице. Ядзи, неспешно продолжая свой путь, заходит передохнуть и подкрепиться в придорожную чайную, которую содержит одна старуха.]

Старуха. Извольте откушать чаю, господин.

Ядзи. Благодарствую! Отсюда до следующей станции — до Акасаки, сколько примерно будет?

Старуха. Не больше одного ри<sup>34</sup>. Но если у вас нет спутника, то вам лучше заночевать здесь, ведь на этой дороге озорует один плохой лис, который любит околдовывать путников.

Ядзи. Я боюсь таких вещей. Но я должен идти дальше; потому что мой спутник ушел вперед и будет меня дожидаться.

[Расплатившись за угощение, Ядзи продолжает свой путь. Ночь темна, и он изрядно робеет из-за сказанного ему старухой. Пройдя уже довольно большой путь, он вдруг слышит тьяканье лиса: кон-кон. От этого он робеет еще больше и кричит во всё горло.]

Ядзи. Подойди поближе, и я убью тебя!

[В это время Кидахати, также изрядно напуганный рассказами старухи, а потому решивший дождаться Ядзи, рассуждает про себя в темноте ночи: «Если я не дожусь его, мы непременно будем обмануты». Внезапно он слышит голос Ядзи и кричит ему в ответ.]

Кидахати. О, Ядзи-сан!

Ядзи. Что ты там делаешь?

Кидахати. Я и собирался пойти вперед; но заробел, поэтому решил остановиться здесь и дождаться тебя.

Ядзи (*который вообразил себе, что это лис принял облик Кидахати, чтобы обмануть его*). Даже и не пытайся меня одурачить!

Кидахати. Ты говоришь какие-то странные вещи! У меня есть вкусный *моти*\*, который я купил для тебя.

Ядзи. Конский навоз не едят!\*\*

Кидахати. Не будь столь подозрительным! Я и в самом деле Кидахати.

---

\* Пряники из рисовой муки, часто посыпанные сахаром для придания им сладости.

\*\* Существует поверье, что лисы развлекаются, вынуждая людей есть конский навоз и купаться в сточной канаве; при этом люди уверены, что едят моти и принимают ванну.

Ядзи (*яростно набрасывается на него*). Да! Ты принял облик Кидахати, чтобы одурачить меня!

Кидахати. Что всё это значит? Что ты собираешься со мной сделать?

Ядзи. Я убью тебя! (*Валит его на землю.*)

Кидахати. О, ты делаешь мне очень больно — прошу тебя, отпусти меня!

Ядзи. Если тебе и в самом деле больно, тогда покажись мне в своем настоящем обличье! (*Они продолжают бороться.*)

Кидахати. Что ты делаешь? Зачем там твоя рука?

Ядзи. Я хочу нащупать твой хвост. Если ты сейчас же не покажешь свой хвост, я заставлю тебя это сделать! (*Достает полотенце и связывает им руки Кидахати у него за спиной, а затем ведет его перед собой.*)

Кидахати. Пожалуйста, развяжи меня, пожалуйста, развяжи меня!

[К этому времени они уже почти подошли к Акасаке, и Ядзи, увидев какую-то собаку, подзывает ее и тащит Кидахати к ней, поскольку считается, что собака способна распознать лиса в любом обличье. Но собака не обращает на Кидахати никакого внимания. Тогда Ядзи его развязывает и извиняется перед ним; затем они оба смеются над своими прежними страхами.]

### XIII

У бога-лиса существуют не только страшные, но и некоторые весьма милые ипостаси.

Например, на одной затерянной улочке Мацуэ, где едва ли может оказаться кто-либо посторонний, если только он не заблудился, находится храм, называемый Дзигёба-но-Инари\*, а также Кодомо-но-Инари — «детский Инари». Он очень маленький, что не мешает ему быть знаменитым; недавно ему была дарована пара каменных лис, очень больших, с позолоченными зубами и с каким-то особенно игривым выражением физиономий. Они сидят у ворот: с одной стороны Лис, который насмешливо оскалился широко открытым ртом, с дру-

---

\* Улица эта называется Дзигёба-мати — дословно: «земляная улица». Храм стоит на месте осушенного болота.

гой — степенная Лиса, чей рот плотно закрыт\*. Во дворе храма можно увидеть множество старых маленьких лис с отбитыми носами, головами или хвостами, а также двух больших львов карадзиси, перед которыми вывешены соломенные сандалии (*варадзи*) как обетные приношения кого-то, страдающего больными ногами и молившего избавить его от этого недуга.

Решетчатые двери храма Дзигёба-но-Инари белы от множества прикрепленных к ним листков бумаги; каждый листок — это чья-то молитва. Справа и слева от дверей, а также над ними наклеены странные, на первый взгляд, обетные картинки, на которых в основном изображены дети, купающиеся в ванне, или дети во время бритья головы. С трудом можно найти одну или две, на которых изображены дети, которые играют. Объяснение этих рисунков сводится к следующему.

По традиции, японские дети, подобно взрослым японцам, ежедневно принимают горячую ванну; также традицией является бритье голов совсем маленьких мальчиков и девочек. Но в отличие от взрослых нежная кожа детей трудно переносит как бритву, так и горячую ванну. Горячая японская ванна более чем горяча — как правило, температура воды в ней не менее ста десяти градусов по Фаренгейту<sup>35</sup>, и даже взрослому иностранцу требуется время, чтобы постепенно привыкнуть к ней и оценить все ее гигиенические достоинства. Что же касается японской бритвы, то это значительно менее совершенный инструмент, чем бритва западная, применяется она без какой-либо пены и способна причинить боль, когда окажется не в самых умелых руках. Поэтому японские родители часто оказываются в трудной ситуации, если малыш восстает против ванны или поднимает бунт против бритвы.

---

\* Такое изображение символических стражей священных мест, таких как карадзиси и восходящий и нисходящий драконы, вырезанные на стенах или колоннах, подобно закону. В синтоистской святыне — храме Кумано воины-хранители, угрюмо смотрящие из-за решеток секций огромных ворот, представлены именно таким образом — рот одного широко открыт, губы другого плотно сжаты. Молодой ученый-буддист объяснил мне, что мужская фигура в таких изображениях как бы произносит звук «А», а женская фигура с плотно сжатыми губами — носовой звук «Н», что соответствует альфе и омеге греческого алфавита и служит символом Начала и Конца.

И тут они призывают на помощь Дзигёба-но-Инари. Ожидается, что если его хорошо попросить, то он пришлет одного из своих слуг, чтобы позабавить ребенка и примирить его с традицией, а кроме того сделать его послушным и радостным одновременно. Когда ребенок не слушается или заболел, также обращаются к этому Инари. Если молитва была услышана, храму делают небольшой подарок, который иногда заключается в обетной картинке с изображением успешного результата такого ходатайства, подобной тем, что наклеены вокруг двери. Судя по числу таких картинок и по преуспеянию храма, «детский Инари» и в самом деле заслуживает своей популярности.

Даже за те несколько минут, что я находился в храмовом дворе, я увидел трех молодых матерей с маленькими детьми за спиной, которые молились и совершали приношения. Я обратил внимание, что один из этих малышей — удивительно милый ребенок — не был обрит. Это был, очевидно, случай беспрецедентного упорства малыша в борьбе с бритвой.

Когда я возвращался Дзигёба-но-Инари, мой японский слуга, сопровождавший меня туда, поведал мне такую историю.

Сын его ближайшего соседа, мальчик семи лет, вышел однажды утром погулять и пропал на два дня. Сначала родители не проявили беспокойства, полагая, что ребенок находится у родственника, где он имел обыкновение проводить день-другой. Но к вечеру второго дня выяснилось, что ребенок к нему не приходил. Были предприняты поиски, но они ни к чему не привели. Поздно ночью, однако, мать мальчика услышала стук в дверь и, открыв ее, нашла сына крепко спящим на земле. Мальчик, после того как его разбудили, рассказал, что, выйдя погулять, встретил паренька, своего ровесника, с очень красивыми глазами, который уговорил его пойти в лес, где они вместе играли весь день и всю ночь, а затем весь следующий день в очень забавные и смешные игры. Но под конец он уснул, и приятель доставил его домой, пообещав «прийти завтра».

Загадочный приятель так никогда и не появился; в округе не проживал ни один мальчик, отвечавший подобному описанию. Из всего этого заключили, что это был лис, которому захотелось немного поразвлечься. А мальчик еще долго грустил о своем веселом товарище...

## Улыбка японцев

|

Те, чьи представления о мире и его чудесах были почерпнуты, главным образом, из популярной или романтической литературы, и донныне питают смутную веру в то, что Восток серьезней Запада. Те же из нас, кто судит о природе вещей с более солидных позиций, наоборот, утверждают, что в современных условиях Запад должен быть серьезней Востока. Фактом же остается то, что как в этом, так и во всех иных вопросах, невозможно точно сформулировать правило, равноприменимое и к той, и к другой части человечества. Мы можем не более как изучать в общих чертах некоторые противоположности без какой-либо надежды дать удовлетворительное объяснение чрезвычайно сложным причинам, их породившим. Одну такую противоположность, представляющую особый интерес, предъявляют исследователю англичане и японцы.

Общим местом является утверждение, что англичане — народ серьезный — и не поверхностно серьезный, а серьезный на всю свою глубину, вплоть до самой коренной породы национального характера. И почти столь же уверенно можно утверждать, что японцы — не самый серьезный народ, как на поверхности, так и в глубине своей, даже в сравнении с нациями, значительно менее серьезными, чем наша собственная. И как бы то ни было, в том же самом соотношении, насколько они менее серьезны, настолько же они и более счастливы; они, возможно, по-прежнему остаются самым счастливым народом во всем цивилизованном мире... Возможно, именно благодаря долгому проживанию среди этого народа можно лучше всего познать английский национальный характер. Это убеждение утвердилось во мне, когда, прожив почти три года в японской глубинке, я на несколько дней вернулся к английской жизни в открытом порту Кобе. Английская речь, вновь услышанная из уст англичан, тронула меня более, нежели я когда-либо мог представить себе возможным, но это чувство длилось всего лишь одно мгновение. Мне предстояло сделать несколько необходимых покупок. Сопровождал меня мой японский друг,



для которого вся эта чужеземная жизнь была совершенно новой и диковинной, и вот он задал такой озадачивший меня вопрос:

— Почему все эти чужеземцы никогда не улыбаются? Ты улыбаешься и кланяешься, когда говоришь с ними, но они никогда даже не улыбнутся в ответ. Почему?

А дело всё в том, что, потеряв всякий контакт с западной жизнью, я полностью усвоил себе привычки и манеры японцев, и вопрос моего спутника впервые заставил меня осознать, что я вел себя до некоторой степени для европейца странно. Это также представилось мне наглядной иллюстрацией трудностей взаимопонимания между двумя нациями, каждая из которых, вполне естественно, хотя и совершенно ошибочно, оценивает манеры и мотивы другой своей собственной меркой. Если японцев приводит в недоумение серьезность англичан, то англичане, не упоминая всего прочего, равным образом недоумевают по поводу японской несерьезности. Японцы говорят о «злых лицах» чужеземцев, а эти чужеземцы крайне презрительно отзываются о японской улыбке: они подозревают, что за ней кроется лукавство, а некоторые даже говорят, что она никоим образом не может означать что-либо еще. Лишь немногие из них, самые наблюдательные, признали ее загадкой, заслуживающей изучения. Один из моих иокогамских друзей — человек, приятный во всех отношениях, проведенный половину жизни в открытых портах Востока, — сказал мне, перед самым моим отъездом во внутренние районы Японии:

— Раз уж ты собираешься изучать японскую жизнь, возможно, ты сумеешь выяснить кое-что и для меня. Я неспособен понять японскую улыбку. Позволь мне рассказать тебе один случай из многих. Однажды, когда я спускался в своем тильбюри<sup>36</sup> из Блафа<sup>37</sup>, я вдруг увидел, что в гору поднимается пустая курума, выехавшая на повороте на встречную сторону. Я не смог бы вовремя остановить лошадь, даже если бы попытался; но я и не пытался, поскольку даже не думал, что здесь может крыться какая-то опасность. Я только крикнул этому парню по-японски съехать на другую сторону дороги, вместо чего он подал свою куруму задом, прижав ее к стенке оглоблями вперед. Мой бег был таков, что свернуть не представлялось никакой возможности, и в следующее мгновение одна оглобля этой

курумы пришлась в плечо моей лошади. Человек этот совсем не пострадал. Когда же я увидел, что у моей лошади выступила кровь, то совершенно вышел из себя и ударил его кнутовищем по голове. А он посмотрел мне прямо в лицо и улыбнулся, а потом поклонился. Я даже сейчас словно вижу эту улыбку. У меня было такое чувство, как будто меня отправили в нокаут. Эта улыбка привела меня в полное замешательство — она мгновенно меня охладила и лишила всякой злости. Представь себе, это была вежливая улыбка! Но что она значила? Какого черта этот человек улыбался? Я не могу этого понять!

В то время и я не мог понять подобного, но затем мне открылся смысл не только этой, но и других, намного более загадочных улыбок. Японец способен улыбаться даже в когтях у смерти — но и тогда он улыбается по той же самой причине, по какой улыбается всегда. В его улыбке нет ни вызова, ни лицемерия; также не следует ее путать с улыбкой покорного смирения, которую мы склонны связывать со слабостью характера. Это тщательно выработанный и издавна совершенствуемый этикет. Это также и бессловесный язык. Но любые попытки толковать его в соответствии с западными понятиями о мимике будут почти столь же успешны, как попытка переводить китайские иероглифы по их истинному или мнимому сходству с формами привычных нам вещей.

Первые впечатления, будучи в значительной степени инстинктивными, признаются наукой лишь как отчасти заслуживающими доверия; самое первое впечатление, производимое улыбкой японцев, не отстоит далеко от этой истины. Иностранец не может не заметить, как правило, счастливые и улыбчивые туземные лица, и в большинстве случаев это первое впечатление удивительно приятно. Улыбка японцев сначала очаровывает, и только много позже, когда вам доведется наблюдать ту же самую улыбку в чрезвычайных обстоятельствах — в моменты боли, стыда, разочарования, она начинает внушать вам подозрение. В каких-то случаях ее кажущаяся неуместность способна даже вызвать вспышку гнева. И в самом деле, причиной многих неприятностей, имевших место между иностранными поселенцами и их туземными слугами, послужила улыбка. Любой, кто уверовал в британское традиционное представление, что хороший слуга должен иметь

серьезный вид, едва ли будет терпеливо сносить улыбку своего «боя». Постепенно, однако, японцы начинают понимать, что типичный англоговорящий чужеземец ненавидит такие улыбки и склонен считать их оскорбительными, по причине чего японские служащие в открытых портах почти совершенно перестали улыбаться и напустили на себя постные мины.

Сейчас мне вспоминается необычная история, рассказанная некой дамой из Иокогамы об одной из ее японских служанок:

— Моя японская кормилица подошла ко мне на днях, улыбаясь, как будто произошло нечто весьма приятное, и сказала, что ее муж умер и она просит позволения пойти на его похороны. Я ответила, что она может идти. По-видимому, его тело было кремировано. Так вот, вечером она вернулась и показала мне урну, в которой было немного пепла, в котором я увидела зуб, и сказала: «Это мой муж». И она, как ни странно, смеялась, когда говорила это! Вам когда-нибудь приходилось слышать о столь отвратительных созданиях?

Было почти невозможно убедить рассказчицу, что поведение ее служанки было вовсе не бессердечным, а скорее героическим и поддающимся очень трогательному истолкованию. Подобный случай мог кого угодно, не только филистера, ввести в заблуждение. Но великое число чужеземных поселенцев в открытых портах — истинные филистеры; они обо всем судят поверхностно, а если и пытаются заглянуть сколько-нибудь глубже, то лишь в роли злобных критиков. Замечу, однако, что мой иокогамский друг, который рассказал мне о случае с возницей-курумая, был настроен совершенно по-иному: он признал ошибочность суждения по внешним проявлениям.

## II

Неправильное понимание улыбки японцев не однажды привело к крайне неприятным последствиям, как это произошло в случае иокогамского коммерсанта Т\*\*\*. Он принял к себе на службу в некоем качестве (думаю, отчасти — как учителя японского языка) симпатичного старого самурая, который носил, по моде той эпохи, косичку и два меча. Англичане и японцы не очень хорошо понимают друг друга и сейчас; но тогда они понимали друг друга еще меньше. Японские слуги, нанятые

иностранцами, поначалу вели себя точно так же, как они вели бы себя на службе у какого-нибудь важного японца; и это невинное заблуждение повлекло за собой немалое число оскорблений и жестоких расплат за эти оскорбления, пока наконец европейцы не сделали открытие, что обращаться с японцами, как с вест-индскими неграми, может быть крайне опасно. Тем не менее некоторое число чужеземцев лишилось жизни с положительным моральным итогом для всех остальных.

Но я несколько отвлекся. Т\*\*\* был вполне доволен старым самураем, хотя едва ли понимал его восточную вежливость и подобострастие, и не мог вникнуть в значение маленьких подарков, которые тот время от времени ему преподносил с утонченной совершенно понапрасну растрачиваемой учтивостью. Однажды самурай пришел просить об одолжении. Полагаю, это был канун японского Нового года, когда все нуждаются в деньгах в силу причин, на которых я не буду здесь останавливаться. Самурай попросил Т\*\*\* дать займы немного денег под залог своего длинного меча. Это было очень красивое оружие, коммерсант понимал его ценность и, не колеблясь, одолжил деньги. Через несколько недель старик выкупил свой прекрасный меч.

Что именно послужило началом последующих неприятностей, сейчас уже никто не помнит. Возможно, у Т\*\*\* просто расстроились нервы. Однажды он за что-то разозлился на старика, который ответил на приступ его гнева поклонами и улыбками. Это еще больше вывело Т\*\*\* из себя, и он прибегнул к некоторым крайне грубым выражениям, но старик по-прежнему кланялся и улыбался. Тогда Т\*\*\* сказал, что больше не нуждается в его услугах, и потребовал, чтобы он покинул дом, но старик все равно продолжал улыбаться. Совершенно утратив самообладание, Т\*\*\* ударил его. И тут вдруг длинный меч мгновенно выскочил из ножен и завис над головой испуганного Т\*\*\*, и старик уже не казался ему стариком. Следует сказать, что в руках любого, кто умеет с ним обращаться, острый, как бритва, двуручный японский меч способен с неимоверной легкостью отсечь голову с одного удара. Почти в то же самое мгновение старый самурай вернул клинок в ножны с мастерством опытного фехтовальщика, повернулся кругом и быстро удалился.

Придя в себя, Т\*\*\* присел поразмыслить. Он вспомнил некоторые моменты, связанные со стариком, — его необязательную, казалось бы, любезность, любопытные маленькие подарки, неизменную честность. И Т\*\*\* устыдился своего поступка, но попытался успокоить себя таким рассуждением: «Это произошло по его собственной вине; он не имел права смеяться надо мной, видя, что я злюсь». Тем менее Т\*\*\* даже решил выдать старику компенсацию, когда представится такая возможность.

Но возможность уже никогда и не представилась, так как вечером того же дня старик совершил харакири в духе истинного самурая. Он оставил весьма изящно написанное письмо, объясняющее его мотивы. Для самурая получить несправедливый удар, не отомстив за него, — несносимый позор. А он получил такой удар. При любых иных обстоятельствах он мог бы отомстить за него. Но обстоятельства в данном случае были совершенно особого свойства. Его кодекс чести воспрещал ему обращать свой меч против человека, которому он однажды заложил его за деньги в час острой нужды. Таким образом, он не был вправе применить свой меч, и ему оставался единственный выбор — почетное самоубийство.

Чтобы эта повесть не была столь печальной, читатель вполне может предположить, что Т\*\*\* был крайне удручен таким исходом дела и весьма щедро одарил семью старика. Чего ему не следует предполагать, так это того, что Т\*\*\* догадался, почему старик улыбался той улыбкой, что привела к трагедии.

### III

Чтобы понять улыбку японцев, нужно на время погрузиться в народную жизнь Японии, ибо невозможно что-либо узнать у осовремененных высших классов.

Кстати, глубинный смысл национальных различий наглядно иллюстрируется результатами высшего образования. Вместо формирования какой-либо общности чувств оно, похоже, лишь еще больше отдаляет человека Запада от человека Востока. Некоторые иностранные наблюдатели заявляют, что оно приводит к такому результату, в огромной степени развивая определенные скрытые особенности, и среди прочих

(в данном случае, у японцев) — прирожденный материализм, мало заметный среди простого народа. С этим объяснением я никоим образом не могу согласиться, но, во всяком случае, невозможно отрицать, что чем лучше японец по западным методам образован, тем он больше психологически от нас отдален. При западной системе образования его характер как будто кристаллизуется в нечто необычайной твердости, а для наблюдателя западного — и необычайной непроницаемости. Эмоционально японский ребенок кажется несравнимо нам ближе, чем японский математик, а крестьянин — чем государственный деятель. Между высшим классом всецело осовремененных японцев и западным мыслителем не существует ничего, напоминающего интеллектуальную близость, — на японской стороне она заменена холодной и безупречной вежливостью.

Те влияния, которые в других землях представляются наиболее способными развить более высокие чувства, здесь кажутся наделенными экстраординарной способностью подавлять их. Мы, в своем заграничье, привыкли связывать эмоциональную чувствительность с интеллектуальным развитием: было бы серьезной ошибкой применять это правило также и в Японии. Иностраный учитель в средней школе может почувствовать, как его ученики из года в год, по мере того как переходят из класса в класс, всё более отдаляются от него; в различных высших учебных заведениях такое отчуждение происходит еще быстрее, так что перед самым выпуском студенты могут стать для своего профессора незнакомцами. Решение этой загадки следует искать прежде всего в унаследованном образе жизни. Обсуждать ее во всей полноте можно, лишь только поняв ее естественные причины, а они, можно не сомневаться, совсем не просты. Некоторые наблюдатели считают, что раз высшее образование в Японии до сих пор не вызвало проявления высоких чувств в их западном понимании, то, значит, его развивающая способность не была применена правильно. Однако эта теория зиждется на предположении, что характер может быть сформирован образованием, и игнорирует тот факт, что наилучшие результаты достигаются, когда есть возможности совершенствовать имеющуюся склонность. Следует понимать: каких бы успехов ни достигло высшее образование, едва ли

можно ожидать, что оно будет способно изменить национальный характер...

При этом нельзя не видеть, что все те нравственные качества, что делали старояпонский характер столь восхитительным, делают современного японского студента самым неутомимым, самым дисциплинированным, самым амбициозным в мире. Но они же понуждают человека к усилиям, превосходящим его естественные силы, что зачастую приводит к умственному и духовному истощению. Можно предположить, что японская нация вступила в период интеллектуального перенапряжения. Осознанно или неосознанно, повинуясь внезапной необходимости, Япония взялась за выполнение сверхзадачи форсированного интеллектуального подъема до уровня наивысших стандартов. Но желаемое умственное преобразование, которое должно быть выполнено на протяжении нескольких поколений, должно повлечь за собой психологическое преобразование, что совершенно невыполнимо, кроме как ужасной ценой. Другими словами, Япония взялась за выполнение слишком многого; впрочем, в создавшихся условиях она не могла взяться за что-либо меньшее. Надежду внушает то, что даже среди беднейших из ее бедняков образовательная политика правительства поддерживается с изумительным рвением; вся нация взялась за учение с таким усердием, верное представление о котором совершенно невозможно передать в кратком очерке. Однако я могу привести один трогательный пример. Сразу же после ужасного землетрясения 1891 года дети разрушенных городов Гифу и Аити, сидя на корточках посреди пепелища, оставшегося от их домов, голодные, холодные и без крыши над головой, посреди невыразимого ужаса и страданий, как и прежде продолжали выполнять свои домашние задания, используя черепицу своих сгоревших жилищ вместо дощечек для письма, а кусочки извести — вместо мела, и это в то время, когда земля продолжала содрогаться под ними\*. Каких же чудес можно уверенно ожидать от столь изумительной целеустремленности в будущем!

---

\* Подземные толчки продолжались, хотя и с уменьшающейся частотой и силой, на протяжении более шести месяцев, после того как произошло это бедствие.

Но верно и то, что результаты высшего образования не во всем оказались полезны. Японцы старого закала обычно вежливы, благожелательны, любезны. Но у осовремененного идущего вслед за ними поколения эти достоинства почти исчезли. Встречается немало молодых людей, которые высмеивают прежние времена и прежние обычаи, но которые при этом не сумели подняться выше вульгарного подражательства и заурядного скептицизма. Что стало с благородными качествами, которые они должны были унаследовать от своих отцов? Не случилось ли так, что лучшие из этих качеств обратились в само усилие — усилие настолько чрезмерное, что оно истощило характер, не оставив ему ни силы, ни душевного равновесия.

Однако вернемся к японской улыбке. Она пестуется на протяжении всего времени домашнего обучения, возвращается с такой же утонченностью, которая проявляется в культивировании природных задатков садового растения. Улыбке обучают точно так же, как и всему иному, что входит в тщательно выработанный старинный этикет; в то же время громкий смех не поощряется. Улыбка должна быть в ходу во всех приятных случаях, при разговоре с кем-либо вышестоящим или равным по положению и даже в случаях неприятных — это вообще часть хороших манер. Наиболее приятное лицо — это лицо, озаренное улыбкой; всегда обращать наиболее располагающее лицо, какое только возможно, к родителям, родственникам, учителям, доброжелателям и друзьям — одно из жизненных правил японца. И более того, важное жизненное правило — постоянно обращать счастливое выражение лица к внешнему миру, производить на окружающих, насколько это только возможно, самое хорошее впечатление. Даже если сердце разрывается на части, общественный долг велит японцу улыбаться. Ведь выглядеть серьезным или несчастным — значит, с одной стороны, причинить беспокойство или боль тем, кто нас любит, а с другой — вызвать недоброе любопытство у тех, кто нас не любит.

Привитая с детства улыбка с возрастом становится инстинктивной. В сознании даже беднейшего крестьянина живет убеждение, что давать волю выражению личной скорби, боли или злости редко бывает полезным, но всегда — неприятным. Поэтому хотя естественная скорбь и должна иметь свой



естественный выход, разражаться безудержными рыданиями в присутствии вышестоящих лиц или гостей — невежливо. Первыми словами даже самой необразованной крестьянки, если в подобных обстоятельствах у нее сдали нервы, неизменно будут: «Я была так груба, простите меня за мою нескромность!»

Из первичного этикета возник вторичный этикет, соблюдение которого зачастую приводит к тому, что иностранцы составляют себе самые дикие ошибочные суждения относительно чувств японцев. Японский обычай состоит в том, что, когда требуется сообщить неприятный или шокирующий факт, касающийся самого себя, делать это следует с улыбкой\*. Чем серьезней вопрос, тем более выраженной должна быть эта улыбка, а когда событие крайне неприятно для рассказывающего о нем, улыбка часто переходит в тихий мягкий смех. Как бы горько ни рыдала на похоронах мать, потерявшая первенца, вполне вероятно, что будучи у вас на службе, она поведает о своем горе с улыбкой: подобно Екклезиасту, она придерживается того правила, что есть время плакать и время смеяться.

Немало воды утекло, прежде чем я смог понять, как это возможно для тех, кто, по моему убеждению, любил успешного, сообщать мне о его кончине со смехом. Однако смех этот был проявлением вежливости, вознесенной на самую вершину самоотречения. Он означал: «Быть может, вы соизволите счесть это событием несчастным, но умоляем ваше превосходительство не терзаться переживаниями о деле столь ничтожном и извинить ту необходимость, что вынуждает нас пренебречь правилами вежливости, вообще упоминая о таком деле». Слуга, наказанный увольнением за какую-то провинность, низко кланяется и просит о прощении с улыбкой. Значение этой улыбки совершенно противоположно дерзости: «Будьте уверены, что я доволен великой справедливостью вашего высокочтимого приговора и что сейчас я уже полностью осознал всю тяжесть своего проступка. Однако мое раскаяние и моя нужда побуждают меня питать необоснованную надежду, что я могу быть прощен за свою великую дерзость просить о снисхождении». Юноша или девушка,

---

\* Но когда дело касается выражения соболезнования пострадавшему, улыбка не считается уместной.

будучи наказаны за какую-то оплошность, принимают наказание с улыбкой, которая означает: «Никакого дурного чувства не пробуждается в моем сердце; моя ошибка заслуживает намного более сурового наказания, чем это». И возникла-курумая, получивший удар кнудом от моего иокогамского друга, улыбался по того же рода причине, как должно быть интуитивно почувствовал мой друг, поскольку эта улыбка тотчас же обезоружила его: «Я был совершенно не прав, и вы вправе злиться на меня: я заслужил этот удар и поэтому не испытываю никакой обиды».

Однако следует понимать, что наибеднейший и наискромнейший японец редко смирится с несправедливостью. Его кажущаяся покорность в основном определяется его нравственным чувством. Чужестранец, который ударит какого-нибудь туземца забавы ради, скорее всего получит возможность убедиться, что совершил серьезную ошибку. С японцами шутки плохи — попытки обращаться с ними бесцеремонно стоили кое-кому жизни.

Но даже после всего вышеизложенного случай с японской кормилицей по-прежнему кажется необъяснимым, но, вероятно, потому, что рассказчица, в чем я вполне уверен, либо утаила, либо упустила из виду некоторые обстоятельства. В первой половине рассказа всё предельно понятно. Сообщая о смерти мужа, молодая служанка улыбалась согласно японской традиции. Но совершенно не верится, что она по своему желанию показала хозяйке содержимое погребальной урны. Она могла показать урну и ее содержимое, только лишь повинувшись какому-то действительному или воображаемому повелению, и при его исполнении, более чем вероятно, у нее мог вырваться тихий мягкий смех, сопровождающий по этикету неизбежное выполнение тягостной обязанности и вынужденное сообщение неприятной новости. Мое мнение заключается в том, что она была вынуждена удовлетворить праздное любопытство, а ее улыбка и смех означали: «Не допустите, чтобы ваши достойные чувства испытали потрясение по столь недостойному поводу; право же, крайне грубо с моей стороны, даже по вашему высокочтимому требованию, продемонстрировать такой низменный предмет, как моя скорбь».

## IV

Не следует представлять себе японскую улыбку некой *sourire figé*<sup>38</sup> — постоянно носимой маской души. Как и другие стороны поведения, она подчинена этикету, который различается в разных классах общества. Как правило, самураи старого времени не были склонны расточать улыбки кому ни попадя; они прибегали к своей любезности для вышестоящих и домочадцев, а в отношении нижестоящих внешне хранили суровую сдержанность. В поговорку вошла величавость синтоистского духовенства; то же самое можно сказать о поведении государственных чиновников и должностных лиц, которые на протяжении столетий следовали правилам конфуцианского кодекса. С древних времен, родовая знать выказывала высокомерную сдержанность; причем сложность ее поведения, связанного с различными церемониями, возрастала с каждой ступенью иерархической лестницы. Тем не менее в частной жизни манеры самых высших чинов становились иными, и даже сегодня, с некоторыми безнадежно осовремененными исключениями, аристократ, судья, служитель культа, военный чин у себя дома, в промежутках между исполнением служебных обязанностей, соблюдают старинный этикет.

Улыбка, освещающая беседу, — сама по себе лишь малая составляющая этого этикета, но чувство, которое она символизирует, определенно составляет большую его часть. Если вам случится иметь своим другом образованного японца, который во всем сохранился истинным японцем, чей характер не тронут чужеземными влияниями, быть может, вы сумеете изучить на нем отдельные черты всего народа — черты, в его случае, изящно обрисованные и отшлифованные. Вы откроете, что, как правило, он никогда не говорит о себе и на пытливые вопросы частного характера отвечает столь уклончиво и кратко, как только это возможно. Но с другой стороны, он задаст множество вопросов, касающихся вас самого: ваши мнения, ваши идеи, даже незначительные подробности вашей повседневной жизни окажутся крайне ему интересны, и, быть может, вам представится случай убедиться, что он никогда не забывает ничего из того, что когда-то узнал о вас. В то же время у его дружеского любопытства имеются жесткие

границы: он никогда не упомянет о неприятном для вас деле, будет слеп и глух к вашим причудам или мелким слабостям, если вы таковыми грешите. Он никогда не будет хвалить вас в лицо, но он также никогда не будет смеяться над вами и критиковать вас. Более того, вы обнаружите, что он никогда не критикует людей, а только их действия по результатам. Он не будет прямо критиковать план, который не одобряет, а попытается предложить новый, причем в самых осторожных выражениях. Когда ему придется говорить о других, он будет делать это в необычной для вас манере, косвенно, приводя и сопоставляя различные примеры, достаточно характерные, чтобы составить по ним некую картину. В основе такой передачи информации лежит конфуцианство. «Даже когда у тебя нет сомнений, — наставляет “Ли цзи”<sup>39</sup>, — не допускай, чтобы то, что ты говоришь, выглядело твоим собственным мнением».

Вполне возможно, что вы отметите у своего друга и другие характерные черты, понимание которых требует некоторого знания китайской классики. Но никакого такого знания вам не потребуется, чтобы убедиться в его деликатно-уважительном отношении к другим людям и в усвоенном им подавлении собственного «я». Ни в каком другом цивилизованном народе секрет счастливой жизни не был понят столь основательно, как среди японцев, никаким другим народом не усвоена столь широко та истина, что радость нашей жизни неизбежно зависит от счастья тех, кто нас окружает, и, как следствие этого, от воспитания в нас самих доброжелательности и терпимости. По этой причине в японском обществе сарказм, ирония, злой юмор в отношении окружающих не поощряются. Я, пожалуй, даже могу сказать с уверенностью, что в культурной среде они напрочь отсутствуют. Личные промахи не становятся предметом насмешек или порицания, какая-либо причуда не превращается в тему для обсуждения, невольная оплошность не возбуждает смех.

## V

Пока я пишу эти строки, ко мне возвращается видение ночи в Киото. Проходя по какой-то удивительно многолюдной и ярко освещенной улице, название которой я не сумел запомнить,

я свернул в проулок, чтобы взглянуть на статую Дзидзо, стоящую перед входом в очень маленький храм. Дзидзо был изображен в виде красивого мальчика-служки *кодзо*. Когда я стоял, рассматривая статую, подбежал мальчонка лет десяти, встал рядом со мной, сложил ладони, склонил голову и какое-то мгновение молча молился. Он только что покинул своих товарищей, и радостное возбуждение игры всё еще светилось на его лице; непроизвольная улыбка мальчика была столь удивительно похожа на улыбку каменного ребенка, что он казался братом-близнецом божества.

Это было давно, но мысль, пришедшая тогда на ум, и сейчас кажется мне правильной. Улыбка человека означает то же самое, что и улыбка Босацу<sup>40</sup>, которая символизирует счастье, что рождается из самоконтроля и самоограничения. «Если один человек побеждает в битве тысячу тысяч раз, а другой побеждает себя, тот, что побеждает себя, есть величайший из победителей... Даже божество не может обратить в поражение победу человека, который покорил себя»<sup>41</sup>. Эти буддистские тексты — а их множество — уверенно выражают, хотя и невозможно предполагать, что они их сформировали, — те нравственные устремления, что создают величайшее очарование японского характера. Весь нравственный идеализм нации представляется мне воплощенным в образе изумительного Будды в Камакуре, чей лик «спокойный, как глубокие тихие воды», выражает — так, как, возможно, никакое иное произведение рук человеческих не смогло бы выразить, — всеобщую истину: «Нет счастья более высокого, чем спокойствие». Именно к этому беспредельному покою обращены все устремления Востока, который сделал своим идеалом высшее самопокорение. И даже сейчас, хотя и возбуждаемый теми новыми влияниями, что должны рано или поздно всколыхнуть его вплоть до самых скрытых глубин, японский ум сохраняет, в сравнении с мыслью Запада, удивительную безмятежность. Он задерживается лишь ненадолго, если вообще сколько-нибудь, на тех абстрактных вопросах, которыми западный человек занимает себя. Японцу настолько же непонятен наш интерес к ним, насколько нам хочется быть понятыми.

— То, что вы не безразличны к вопросам веры, — поделился однажды со мной наблюдением один японский ученый

муж, — вполне естественно, но столь же естественно и то, что нас эти вопросы никогда не беспокоят. Философия буддизма намного глубже западной теологии, а мы ее изучили. Мы измерили глубины мысли до пределов, которые убедили нас, что существуют глубины неизмеримо глубже этих глубин; мы добрались до самых дальних пределов, каких только способна достичь мысль, только чтобы обнаружить, что горизонт постоянно отдаляется. А вы — вы много тысячелетий оставались подобны детям, которые плещутся в реке, но не знают моря. Только сейчас вы достигли его берега, следуя иным путем, нежели мы. Его простор поверг вас в изумление, и вы последовали в Никуда, поскольку узрели беспредельное за песчаными дюнами жизни.

Будет ли Япония способна усвоить западную цивилизацию так же, как она усвоила китайскую более десяти веков тому назад, сохранив тем не менее только ей присущие формы мышления и чувствования? Один замечательный факт внушает надежду — то, что восхищение японцев западным материальным превосходством никоим образом не распространяется на западные нравственные ценности. Восточные мыслители не путают технический прогресс с прогрессом этическим, и поэтому от них не укрылась нравственная ущербность нашей хваленой цивилизации. Один японский писатель выразил свое суждение о «вещах западных» в такой манере, что оно заслуживает внимания круга читателей более широкого, чем тот, на который было первоначально рассчитано:

«Порядок или беспорядок в какой-либо нации не зависит от чего-либо, что падает с небес или вырастает из-под земли. Он определяется умонастроением людей. Опорная точка, от которой общественное умонастроение склоняется к порядку или беспорядку, — это точка разделения общественных и частных интересов. Если народ руководствуется главным образом общественными интересами — порядок гарантирован; если частными — беспорядок неизбежен. Общественные интересы — это те, что побуждают к надлежащему исполнению обязанностей; их преобладание означает мир и процветание в равной мере для семей, общин и наций. Частные интересы — это такие, которыми движут эгоистические побуждения:

когда они преобладают, волнения и беспорядки неизбежны. Наш долг как членов семьи — заботиться о благополучии этой семьи; наш долг как ячеек нации — трудиться на благо этой нации. Относиться к нашим семейным делам со всем интересом, который должно проявлять к нашей семье, а к нашим национальным делам — со всем интересом, который должно проявлять к нашей нации, — это и есть надлежаще исполнять свой долг и руководствоваться общественными интересами. С другой стороны, относиться к делам нации так, как если бы они были нашими личными семейными делами, — значит оказаться под влиянием частных побуждений и сбиться с пути исполнения долга...

Эгоизм рождается в каждом человеке; неограниченно ему потворствовать — значит превратиться в дикого зверя. Поэтому мудрецы и наставляют принципам долга и должного поведения, справедливости и нравственности, что служат обузданию личных устремлений и поощрению общественного духа... Что нам известно о западной цивилизации, так это то, что на протяжении долгих столетий она прокладывала себе путь в условиях полного беспорядка и, наконец, достигла состояния некоторого порядка, но даже этот порядок, не будучи основан на таких принципах, как естественные и неизменные различия между правителем и подданным, родителем и ребенком, со всеми проистекающими отсюда правами и обязанностями, подвержен постоянным переменам по мере увеличения людских притязаний и людских замыслов. К принятию этой системы в Японии — системы, идеально приспособленной для людей, чьи действия подчинены эгоистическим устремлениям, естественным образом стремится определенный класс политиков. С поверхностной точки зрения западная форма общества очень привлекательна постольку, поскольку, будучи результатом свободного развития человеческих устремлений с античных времен, она воплощает самый крайний предел излишества и расточительства. Коротко говоря, положение дел на Западе в части приобретательства зиждется на свободном проявлении людского эгоизма и пребывает в состоянии, достижимом лишь при обеспечении этому качеству возможности проявиться в полной своей мере. Общественным волнениям на Западе придается

мало значения, тем не менее они являются одновременно свидетельствами и факторами нынешнего бедственного положения дел... Действительно ли очарованные западным укладом японцы хотят, чтобы их национальная история была написана в подобных же терминах? Действительно ли они всерьез рассматривают возможность для своей страны свернуть на новую стезю, с тем чтобы поэкспериментировать с западной цивилизацией?..

Население империи живет, преимущественно, физическим трудом. Будь эти люди не столь трудолюбивы, они едва ли смогли бы зарабатывать достаточно для обеспечения своих повседневных потребностей. Они зарабатывают в среднем порядка двадцати сенов в день. Они не задаются целью носить прекрасные одежды или жить в красивых домах. Не могут они также надеяться достичь почестей и славы. Какое преступление совершили эти бедные люди, что им заказано пользоваться всеми благами западной цивилизации?.. Некоторыми их положение объясняется на основе гипотезы, что их желания не побуждают их к улучшению своего благосостояния. Такое предположение не соответствует истине. У них есть желания, но природа ограничила их способность удовлетворять таковые... Они достигают всего, что позволяют имеющиеся у них возможности. Наилучшие и наитончайшие продукты своего труда они приберегают для богатых, наихудшие и наигрубейшие оставляют для своих собственных нужд. В человеческом обществе нет ничего, что не было бы обязано своим происхождением труду. Но чтобы удовлетворить желания одного утопающего в роскоши человека, требуется труд тысяч людей. Чудовищно, что те, кто обязаны труду этих тысяч всеми радостями жизни, забывают об этом и обращаются с тружениками так, как будто они не такие же люди. Цивилизация, в трактовке Запада, служит лишь к удовлетворению людей с большими запросами. Она не служит на благо народных масс, а является лишь системой, при которой тщеславия конкурируют в достижении своих целей...

То, что западная система серьезно нарушает мир и порядок страны, видят люди, имеющие глаза, и слышат люди, имеющие уши. Будущее Японии при такой системе внушает нам беспокойство. Система, основанная на том принципе, что



этика и религия призваны служить человеческому тщеславию, естественным образом отвечает желанием эгоистичных индивидуумов; такие теории, как эти, воплощенные в современном лозунге свободы и равенства, уничтожают установившиеся общественные отношения и оскорбляют благопристойность и добропорядочность... Поскольку абсолютное равенство и абсолютная свобода недостижимы, их пределы определяются правами и обязанностями, которые предполагается устанавливать. Но каждый человек стремится иметь как можно больше прав и обременять себя как можно меньшими обязанностями... Возьмите Америку... Совершенно очевидно, что если общие права людей и их положение в обществе привести в зависимость от размеров их состояния, большинство людей, состоянием не обладающих, никогда не смогут утвердиться в своих правах; тогда как меньшинство — владельцы состояний — утвердятся в своих правах и, с одобрения общества, потребуют от бедных выполнения тяжелых обязанностей, пренебрегая велениями гуманизма и доброты. Принятие таких принципов свободы и равенства в Японии разрушило бы добрые и мирные традиции нашей страны, сделало бы общий характер народа жестким и бесчувственным, и в конечном итоге оказалось бы источником бедствий для народных масс...

Хотя на первый взгляд западная цивилизация представляется привлекательной, но приспособленная к удовлетворению эгоистических желаний, как это имеет место быть, и к тому же имеющая в своей основе постулат, что людские желания составляют естественное право, она неизбежно должна привести к разочарованию и деморализации... Западные нации стали тем, что они есть, пройдя через конфликты и превратности самого серьезного характера, и их судьба — продолжать эту борьбу. На данный момент их движущие элементы находятся в частичном равновесии, а их общественное состояние более-менее упорядочено. Но если это шаткое равновесие окажется нарушено, они вновь будут ввергнуты в беспорядок и перемены, пока, после периода возобновленной борьбы и новых страданий, не будет вновь достигнута временная стабильность. Бедные и бессильные настоящего времени могут превратиться в богатых и могущественных будущего, и *vice versa*<sup>42</sup>. Они об-

речены на постоянные потрясения. Мирное равенство никогда не будет достигнуто, пока оно не будет воздвигнуто посреди руин уничтоженных западных государств и праха исчезнувших западных народов»\*.

Предчувствия подобного рода, возможно, помогут Японии предотвратить некоторые из социальных опасностей. Однако представляется неизбежным, что ее преобразование будет происходить параллельно с нравственным упадком. Будучи вынуждена участвовать в широкомасштабной промышленной конкуренции наций, культуры которых никогда не основывались на альтруизме, она должна будет со временем развить те качества, относительное отсутствие которых создавало удивительное очарование ее жизни. Национальный характер неизбежно продолжит ужесточаться, как он уже начал ужесточаться в настоящее время. Никогда не следует забывать, что старая Япония настолько же опережала европейский девятнадцатый век морально, насколько она отставала от него материально. Она сделала нравственность инстинктивной, прежде этого сделав ее рациональной. Она претворила в жизнь, хотя и в ограниченных пределах, те общественные условия, которые наши наиболее одаренные мыслители считают наиважнейшими. На всех без исключения уровнях ее сложного общества, она развила такое понимание и выполнение общественных и личных обязанностей, каких невозможно сыскать на Западе. Даже ее слабость стала результатом избытка того, что все, как одна, цивилизованные религии объявили добродетелью — самопожертвования индивидуума ради семьи, государства и нации. Об этом в своем труде «Душа

---

\* Эти выдержки из напечатанного в «Джапан дейли мейл» 18 и 19 ноября 1890 года перевода знаменитого эссе виконта Торио не дают должного представления о силе и логике всего эссе в полном объеме. Оно слишком велико, чтобы привести его полностью, а любые отрывки страдают недосказанностью в отрыве от последовательной цепи этических, религиозных и философских рассуждений, связывающих различные части этого сочинения воедино. Это эссе, помимо прочего, замечательно еще и тем, что является произведением ученого мужа, совершенно не подверженного влиянию западной мысли. Виконт Торио также хорошо известен как большой знаток буддистской философии. Кроме того, он имеет высокое звание в японской армии.

Дальнего Востока»\* говорит Персиваль Лоуэлл<sup>43</sup>. Прогресс, достигнутый Японией в общественной этике, хотя и более значительный, чем наш собственный, шел главным образом в на-

---

\* Выражая искреннее восхищение этой замечательной книгой, я должен заявить тем не менее, что некоторые из ее выводов представляют собой полную противоположность моим собственным убеждениям в этом вопросе. Я не считаю, что японцы лишены индивидуальности; их индивидуальность менее выражена внешне и проявляется не столь явно, как индивидуальность людей Запада. Я также убежден, что многое из того, что мы на Западе называем «личностью» и «силой характера», является лишь пережитком и признанием первобытных агрессивных наклонностей, более или менее завуалированных культурой. То, что Герберт Спенсер называет высшей формой индивидуализации, определенно не подразумевает чрезмерного развития способностей, приспособленных исключительно для агрессивных целей; тем не менее скорее всего именно посредством этих, а не каких-либо иных способностей, западная индивидуальность чаще и быстрее всего проявляет себя. В настоящее время, как и прежде, в Японии удивительно редко властные, грубые, агрессивные или отталкивающие личности. Что поражает — как слабость в японских интеллектуальных кругах — так это сравнительное отсутствие непосредственности, творческого мышления, оригинального восприятия высшего порядка. Возможно, этот кажущийся недостаток является национальной чертой: народы Дальнего Востока, по-видимому, на протяжении всей своей истории были скорее рецептивными, нежели креативными. Во всяком случае, я не могу поверить, что буддизм — первоначально вера арийского народа — может доказанно нести за это ответственность. Полное исключение влияния буддизма из системы государственного образования, по-видимому, не оказало побудительного действия, ибо знатоки древней буддистской философии по-прежнему проявляют намного более высокие мыслительные способности в области общественных отношений, чем средний выпускник Императорского университета. Более того, я склонен верить, что интеллектуальное возрождение буддизма — приведение его высоких истин в гармонию с самыми лучшими и всеохватными учениями современной науки — имело бы для Японии наизначительнейшие результаты. Японский ученый муж Иноуэ Энрё (Иноуэ Энрё (1858—1919) — японский философ, буддистский реформатор, просветитель. Ключевая фигура процесса привнесения на японскую почву западной философии. — *Прим. ред.*), имея в виду эту благородную цель, в настоящее время основал в Токио философский колледж, который, как представляется на момент написания этих строк, способен стать влиятельным учреждением.

правлении взаимозависимости. Ее предстоящей обязанностью будет никогда не упускать из виду учение того выдающегося мыслителя, философию которого она приняла<sup>44</sup>, — учение, что «крайний индивидуализм должен быть соединен с величайшей взаимозависимостью» и что, каким бы парадоксальным ни казалось данное утверждение, «закон прогресса ведет одновременно к полной раздельности и к полному единству».

На свое прошлое, которое ее молодое поколение ныне пытается презирать, Япония непременно однажды оглянется — так же как мы сами оглядываемся на древнегреческую цивилизацию. Она научится сожалеть о забытой способности к простым удовольствиям, об утраченном чувстве чистой радости жизни, о древней любовной божественной близости с природой, о чудесном и уже мертвом искусстве. Она вспомнит, насколько более ярким и прекрасным казался тогда мир. Она будет печалиться о многом — о старомодном постоянстве и самопожертвовании, о старинном этикете, о глубоко человеческой поэтичности древней веры. Она будет изумляться многому, но она будет и сожалеть. Возможно, более всего она будет изумляться лицам древних богов, ибо их улыбка — подобие ее собственной.

## В японском саду

|

Мой двухэтажный домик на берегу Охасигава, хотя и изящный, как клетка для канарейки, оказался слишком мал для комфортного проживания, когда приблизилось жаркое время года: комнатки его были едва ли выше пароводных кают и такие узкие, что повесить обычный москитный полог в них просто невозможно. Мне жаль было лишиться красивого вида на озеро, но я счел необходимым переехать в северную часть города, на очень тихую улочку позади ветшающего замка. Мой новый дом — это *каттю-ясики*<sup>45</sup>, старинная усадьба самурая высокого ранга. Он отгорожен от улицы, или скорее от проезжей дороги, идущей вдоль замкового рва, длинной высокой

стеной, крытой черепицей. По низкой широкой лестнице с каменными ступенями вы поднимаетесь к воротам, почти столь же большим, как на входе в храмовый двор; справа от ворот из стены выступает смотровое окно, забранное плотной решеткой, наподобие большой деревянной клетки. Оттуда в феодальные времена вооруженные слуги пристально следили за всеми проходящими мимо; это были невидимые стражи, поскольку прутья решетки расположены столь плотно, что лицо за ними с дороги разглядеть невозможно. За воротами ведущая к дому дорожка также ограждена стенами по обеим сторонам, и таким образом посетитель, если он не из числа привилегированных, может видеть перед собой только вход в дом, всегда загороженный белой *сёдзи*<sup>46</sup>.

Как и все дома самураев, само жилище всего лишь в один этаж, но внутри него — четырнадцать комнат, и все они высокие, просторные и красиво обставленные. Но, увы, нет ни озера, ни очаровательного вида. Холм Сирояма<sup>47</sup> с замком на вершине, наполовину скрытым сосновым парком, виден за гребнем науличной стены, но только лишь часть его — всего в ста ярдах за домом начинается поросшая густым лесом возвышенность, загораживающая не только горизонт, но также и изрядную часть неба. За это имеется справедливое вознаграждение в виде восхитительного сада, или скорее группы садовых участков, с трех сторон окружающих жилой дом. К ним обращены широкие веранды, с угла одной из которых я могу наслаждаться видом двух садов сразу. Изгороди из бамбука и плетеного тростника с широкими проходами посередине отмечают границы трех участков этого сада тихих радостей. Но эти плетни не предназначены служить настоящими изгородями; их назначение — украшать; они лишь обозначают, где заканчивается один стиль ландшафтного садоводства и начинается другой.

## II

А сейчас несколько слов о том, что представляют собой японские сады в общем смысле.

После того как вы узнаете — только лишь наблюдая, ибо для практического освоения этого искусства требуются го-

ды учения и опыта, помимо естественного врожденного восприятия красоты, — кое-что о японской манере составления цветочных композиций, европейские идеи декорирования цветами могут показаться вам не более чем вульгарными. Это мнение — вовсе не результат какого-то бездумного восторга, а твердое убеждение, выношенное после долгого проживания в глубинке. Ко мне пришло понимание невыразимой прелести одинокой ветки в цветущем, поставленной так, как только японский мастер знает, как ее поставить, — не просто воткнув ветку в вазу, а, быть может, затратив целый час трудов на подрезку, установку и тончайшие манипуляции, — и поэтому я не могу ныне считать то, что мы, люди Запада, называем «букетом», чем-либо иным, кроме как убиением цветов, надругательством над чувством цвета, проявлением жестокосердия и отвратительных склонностей. Примерно так же и по схожим причинам, после того как я узнал, что такое старояпонский сад, я вспоминаю наши самые роскошные сады лишь как безграмотные демонстрации того, чего способно добиться богатство в создании несуразностей, представляющих собой насилие над природой.

Необходимо сказать, что японский сад — это не сад цветов; не создан он и для выращивания каких-то растений. В девяти случаях из десяти в нем нет ничего, что напоминало бы клумбу. В некоторых садах не без труда можно найти редкий зеленый побег, в некоторых, хотя это исключение, вообще отсутствует зелень, и они полностью состоят из камней, гальки и песка\*. Как правило, японский сад — это ландшафтный сад, но при этом возможность его существования не зависит от какой-то установленной площади землеотвода. Он может занимать как один акр, так и много акров. Он может располагаться на участке всего лишь в десять квадратных футов. Он может в крайнем случае быть и намного меньше, ибо определенный тип японского сада может быть создан на столь малой пло-

---

\* Таков сад при особняке настоятеля храма Токувамон-дзи, который был создан в ознаменование легенды о камнях, поклонившихся в знак принятия учения Будды. В провинции Тоттори, на озере Того, я видел очень большой сад, почти полностью состоящий из камней и песка. Впечатление, которое намеревался передать его создатель, — приближение к морю по краю дюн, и эта иллюзия была прекрасно воплощена в реальность.

щади, что умещается в токонома. Такой сад во вместилище величиной не больше блюда для фруктов называется *кони-ва* или *токо-нива*, и его можно иногда увидеть в токонома маленьких скромных жилищ, настолько плотно втиснутых между другими постройками, что у них нет ни клочка земли, где можно разбить внешний сад. (Я говорю «внешний сад», поскольку в некоторых больших японских домах имеются внутренние сады как на верхнем, так и на нижнем этаже.) Токо-нива обычно располагается в какой-нибудь необычного вида лохани, в неглубоком резном ящике либо в иной емкости самой причудливой формы, для обозначения которой не существует английского слова. В этой емкости создаются крошечные горки с крошечными домами на них, микроскопические пруды и речки, с перекинутыми через них крохотными горбатыми мостиками, причудливые крошечные растения в роли деревьев, гальки необычной формы, служащие скалами и утесами; имеются еще и крошечные тории, одним словом — это очаровательный живой макет японского пейзажа.

Еще одно условие первостепенной важности, которое непременно следует помнить, состоит в том, что для понимания красоты японского сада необходимо понимать — или хотя бы учиться понимать — красоту камней. Не вырубленных рукой человека в каменоломне, а камней, над формой которых потрудились одна лишь природа. Пока вы не будете чувствовать, и глубоко чувствовать, что камни имеют характер, что камни обладают оттенками и сочетаниями света и тени, художественная сущность японского сада не сможет вам открыться во всей ее полноте. Иностранцу, каким бы чутким ни было его восприятие, это чувство потребуется развивать. Что же касается японца, то у него это чувство врожденное; душа японской нации понимает природу неизмеримо лучше, чем мы, во всяком случае — в ее видимых формах. И хотя, будучи человеком Запада, обрести истинное чувство красоты камней вы сможете лишь после длительного изучения принципов их выбора и применения японцами, предметы таких уроков, если ваша жизнь протекает в японской глубинке, будут присутствовать вокруг вас повсюду. Нельзя пройти по улице, не обратив внимания на готовые задания по эстетике камня, которую вы собираетесь освоить. Вблизи храмов, у обочин дорог, перед

священными рощами, во всех парках и общественных садах, на всех кладбищах вы заметите большие, неправильной формы плоские плиты природного камня — в основном, добытые из речных русел и обточенные водой — с выбитыми на них иероглифами, но необтесанные. Это памятники или надгробные плиты, на них также могут быть записаны обеты; природные камни намного дороже колонн из тесаного камня с резными рельефными фигурами божеств. Еще вы увидите перед большинством храмов и почти во всех крупных усадьбах огромные, неправильной формы валуны гранита или иной скальной породы, отшлифованные горными потоками и превращенные в хранилища воды (*тёдзу-баты*), благодаря выдолбленному сверху углублению округлой формы.

Таковы самые обычные примеры использования камней даже в самых бедных деревушках. Если вы обладаете хоть каким-то художественным вкусом, то непременно рано или поздно обнаружите, насколько красивее эти природные формы любых творений, вышедших из-под резца каменотеса. Живя в Японии, особенно, если много путешествуете по стране, вы в конце концов привыкнете к надписям, высеченным на поверхности скал, и часто будете ловить себя на том, что невольно ищите взглядом следы резца там, где их нет и даже, возможно, не могло быть, будто бы по закону природы иероглифы неперменный атрибут формации горных пород. Камни, быть может, начнут обретать для вас индивидуальность или даже физиономичность и вызывать настроения и чувства, как они вызывают их у японцев. И действительно, Япония — это страна каменных форм, пробуждающих мысли и чувства; такие формы, несомненно, нашли свое место в воображении японцев задолго до появления того древнего текста, что повествует о демонах в Идзумо, «которые заставили скалы и корни деревьев, и листья, и пену изумрудных вод заговорить».

Как и можно ожидать в стране, где природные формы играют столь важную роль, в Японии существует множество любопытных поверий и суеверий, связанных с камнями. Почти в каждой провинции есть знаменитые камни, которые почитаются паломниками, поскольку считаются священными или наделенными волшебной силой, — например, Женский Камень в храме Хатимана в Камакюре, Сэссё-сэки, или Камень



Смерти, в Насу, Камень Преуспения на острове Эносима. Существуют легенды о проявлении камнями чувств, подобные преданию о «квивающих камнях», которые низко кланялись монаху Дайто, когда он проповедовал им слово Будды. Любопытно старинное сказание из «Кодзики» о том, как император О-Дзин, будучи в состоянии опьянения, «обрушил свой августейший посох на огромный камень, лежащий посреди Осакинской дороги, после чего камень сбежал!»

Следует сказать, что большие камни какой-то особой формы оцениваются в сотни долларов. Такие камни составляют основу при разбивке старояпонского сада, причем каждый из них имеет свое собственное название, указывающее на его назначение и роль.

### III

В японском саду вовсе не прилагается каких-либо стараний к тому, чтобы создать какой-то нереальный или совершенно идеальный ландшафт. Его художественное назначение состоит в том, чтобы служить точной и достоверной копией красот какого-то подлинного пейзажа и производить столь же реальное впечатление, какое производит настоящий пейзаж. Поэтому он является произведением искусства и поэтическим произведением одновременно; возможно, он даже более поэтическое произведение, нежели произведение ландшафтного искусства. Ведь так же, как природный пейзаж в его меняющихся видах воздействует на наши чувства, пробуждая веселое или серьезное настроение, создавая ощущение затаенной угрозы или безмятежности, напряженности или спокойствия, в той же мере его подлинное отражение в работе ландшафтного садовода не только лишь производит прекрасный пейзаж, но и создает определенное душевное настроение. Великие ландшафтные садоводы древности — буддистские монахи, первые привнесшие это искусство в Японию и впоследствии развившие его в почти оккультную науку, продвинули свою теорию еще дальше. Они считали возможным воплощать в садах отвлеченные понятия, такие как непорочность, вера, благочестие, спокойствие, супружеское счастье и т. п. Сады замышлялись так, чтобы отвечать характеру владельца; на их вид влияли также его занятия, и сад

поэта легко можно было отличить от сада воина, философа или священнослужителем. В старинных садах (это искусство, увы, сейчас всё больше предается забвению под пагубным влиянием тривиального западного вкуса) нашли свое выражение как представления о природе, так и восточный взгляд на человека.

Я не знаю, какое человеческое чувство предназначалось отражать главному участку моего сада, и нет никого, кто бы мог мне это рассказать. Те, кем он был создан, покинули этот мир много поколений назад. Но как поэтическое произведение о природе, мой сад не нуждается ни в каком толкователе. Он занимает наудлившую часть усадьбы, обращенную на юг, а на западе протягивается до границы северного участка сада, от которого частично отмежеван необычной конструкцией в виде изгороди-ширмы. В нем есть крупные валуны, густо поросшие мхом, разные фантастические бассейны из камня для запаса воды и позеленевшие от времени каменные фонари, есть миниатюрные холмы со старыми, также миниатюрными, деревьями на них, с покрытыми зеленью склонами, затененные цветущими кустарниками; также имеется *сятихоко*, подобная тем, что видны на коньках кровли замка, — большая каменная рыбина, а вернее дельфин, с распластанным по земле носом и поднятым вверх хвостом\*. Небольшие зеленые возвышенности поднимаются, подобно островам, из бледно-желтого песка, гладкого, как шелк, служащего имитацией изгибов и поворотов речного русла. Эти песчаные дорожки не предназначены для прогулок — они слишком красивы для этого. Малейшее пятнышко грязи испортило бы впечатление от них, и для их поддержания в идеальном состоянии требуется особое мастерство опытного садовника — замечательного старика. Эти дорожки пересекаются в разных направлениях рядами плоских неотесанных каменных плит, уложенных на неодинаковых расстояниях друг от друга подобно камням, существующим для перехода через ручей. Общее впечатление такое, словно это тихий поток в каком-то прелестном, одиноком, сонном уголке.

---

\* Это положение *сятихоко* в какой-то степени диктуется традицией, отсюда японское расхожее выражение *сятихоко дай*, что значит «стоять на голове».

Нет ничего, что нарушило бы эту иллюзию, настолько изолирован от внешнего мира этот сад. Высокие стены и изгороди отгораживают улицы и всё, что с ним граничит, а кустарники и деревья, которые становятся тем выше и гуще, чем ближе к его границам, скрывают от взора даже крыши соседних каттю-ясики. Нежной красотой насыщены трепещущие тени листьев на залитом солнцем песке, тонкий сладковатый аромат цветов приходит с каждой волной прохладного воздуха, и отовсюду доносится гудение шмелей.

#### IV

Буддизм учит, что всё сущее подразделяется на *хидзё* — творения, не наделенные желаниями, такие как камни и деревья, и *удзё* — творения, наделенные желаниями, такие как люди и животные. Это деление, насколько мне известно, не находит выражения в философии садов, но оно удобно, и я им воспользуюсь. Настоящее повествование о моем маленьком имении относится как к вещам одушевленным, так и неодушевленным. Я начну с хидзё, и первым будет растение возле входа в ясики, рядом с воротами первого сада.

Почти у каждого старого самурайского дома возле дорожки, идущей от ворот, и при входе в само жилище можно увидеть небольшое деревце с крупными листьями особой формы. В Идзумо это деревце называется *тэгасива*; возле моей двери тоже есть одно такое. Каково его научное название, мне неизвестно; так же как я не вполне уверен в этимологии его японского названия. Однако есть слово *тэгаси*, означающее ручные оковы, а форма листьев тэгасива отчасти напоминает руку.

В старые времена, когда самурай-вассал покидал дом, чтобы сопровождать своего даймё в Эдо, было обычаем, перед тем как он отправится в путь, подавать ему запеченную рыбу тай, уложенную на лист тэгасива. По завершении этой прощальной трапезы, лист, на котором подавали рыбу, вывешивался над входом как оберег, который должен был охранять и благополучно вернуть домой ушедшего в поход рыцаря. Это милое поверье о листьях тэгасива возникло не только из-за их формы, но и благодаря их движению под ветром. Они как будто зовут, и не так, как это принято у нас на Западе, а так, как японец по-

дает своему другу знак подойти, слегка помахивая вверх-вниз рукой, обратив ее ладонью к земле.

Еще один куст, который можно встретить почти во всех японских садах, это *нантэн*\*, о котором существует любопытное поверье. Если вам приснится дурной сон, предвещающий несчастье, вы должны рано утром поведать его шепотом нантэну, и тогда этот сон никогда не сбудется\*\*. Имеются два вида этого грациозного растения: один приносит красные ягоды, другой — белые. Второй встречается редко, но в моем саду растут оба вида. Более распространенный вид высажен рядом с верандой (быть может, для удобства сновидцев); другой занимает маленькую клумбу в центре сада, рядом с небольшим цитрусовым деревом. Это чрезвычайно изящное цитрусовое дерево называют «пальцами Будды»\*\*\* из-за удивительной

---

\* *Nandina domestica* (Нандина домашняя (лат.) — растение из семейства барбарисовых, вечнозеленое дерево, нередко растущее кустообразно. — Прим. ред.).

\*\* В Идзумо говорят, что самый счастливый из всех снов — это сон о священной горе Фудзи. Следующий по порядку добрых предзнаменований, это приснившийся сокол (*така*). Третий наилучший предмет сновидения — это баклажан (*насуби*). Увидеть во сне солнце или луну — к большой удаче, но еще большая удача ожидает, когда снятся звезды. Для молодой жены самое счастливое сновидение — проглотить звезду; это означает, что она станет матерью прелестного ребенка. Приснившаяся корова — доброе предзнаменование, лошадь во сне — к удаче, но предвещает дальнюю дорогу. Увидеть во сне дождь или пожар — к добру. В Японии, как и на Западе, считается, что некоторые сны «сбудутся наоборот». Поэтому увидеть во сне в своем доме пожар или похороны, или себя умершим, или беседу с призраком кого-то умершего — это к добру. Некоторые сны, которые для женщин к добру, для мужчин имеют обратное значение; например, для женщины к добру увидеть во сне, что у нее из носа идет кровь, а для мужчины это очень плохой сон. Если приснилось много денег — жди какой-нибудь потери или убытка. Увидеть во сне карпа (*кой*) или иную пресноводную рыбу — самое несчастливое предзнаменование из всех. Любопытно, что в других районах Японии, в отличие от Идзумо, кой — это символ удачи.

\*\*\* *Bushukan; Citrus sarkodactylis* (Цитрон пальчатый (яп.; лат) — разновидность цитрона. Отличается многократно пальчаторасчлененными плодами, образующими отростки, напоминающие пальцы, которые остаются несросшимися, разделенными практически до самого основания, что делает плод похожим на руку человека. — Прим. ред.).

формы его ароматных плодов. Рядом с ним стоит вид лавра с копьевидными листьями, отливающими бронзой; японцы называют его *юдзури-ха*\*, в садах старых самурайских домов он почти столь же обычен, как и тэгасива. Он считается деревом доброго предзнаменования, поскольку ни один из его старых листьев никогда не опадает, пока достаточно не окрепнет новый, растущий за ним. Юдзури-ха символизирует надежду, что отец не покинет этот мир, прежде чем его сын не возмужает и не будет способен сменить его, как глава семьи. Поэтому в каждый Новый год листья юдзури-ха вместе с листьями папоротника прикрепляются к симэнава.

## ∇

Как и камни, каждое растение имеет особенное ландшафтное название, сообразно своему положению и назначению в общей композиции. Весьма важную роль играют сосны, которые вместе с валунами и камнями лежат в основе плана сада. В моем саду пять сосен; ни в коем случае нельзя сказать, что они насильно втиснуты в причудливые формы, — их удивительно живописный облик создан путем долгих и неустанных забот и правильной подрезки. Целью садовника было развить до предельной возможной степени их естественную склонность к неровным линиям и сгущению хвои — этой колючей темно-зеленой листвы, которую японскому искусству никогда не наскучит копировать в металлических инкрустациях и в лаковых изделиях. Сосна — это самое символическое дерево в этой стране символизма. Вечнозеленая, она является одновременно символом твердой целеустремленности и энергичной старости; а ее иголки, как считается, наделены силой отгонять демонов.

*Есть два вида сакура-но-ки*, японского вишневого дерева — этого дерева, чье цветение, как совершенно справедливо заключает профессор Чемберлен, «несравнимо и премного

---

\* «Юдзуру» в переводе с японского означает «отказаться в пользу другого», «ха» — лист. Ботаническое название этого растения — *Daphniphillum macropodum* (Волчелистник крупноножковый (лат.) — вечнозеленый кустарник или дерево. — Прим. ред.).

милее всего, что может предъявить Европа». Культивируются и пользуются любовью многие виды; те, что в моем саду, цветут неосяземо-розовым, слегка зардевшимся белым цветом. Когда весной деревья цветут, то кажется, будто кудрявящиеся массы облаков, подкрашенных закатом, спустились с небесных высот, чтобы обернуться вокруг веток. В этом сравнении нет поэтического преувеличения, как и нет ничего оригинального: это древнеяпонское описание самой чудесной цветочной выставки, какую только способна создать природа. Читатель, который никогда не видел цветения вишневых деревьев в Японии, возможно не способен представить, насколько восхитительно это зрелище. Совсем еще нет зеленых листьев — они появятся позднее: есть только великолепное буйство соцветий, обволакивающих каждый побег и каждую ветку своим нежным туманом, а земля под каждым деревом покрыта сплошным ковром опавших лепестков, как будто запорошена розовым снегом.

Но это окультуренные вишневые деревья. Есть и другие, листья которых распускаются до начала цветения, такие как *ямадзакура* — горная вишня\*. Синтоистский писатель и поэт Мотоори воспевал ее так:

*Сикисима но  
Ямато-гокоро о Хито-товаба,  
Аса-хи ни ниоу  
Яма-дзакура бана.*

Если кто-нибудь спросит вас,  
Что такое сердце истинного японца,  
Укажите на цветок дикой вишни,  
Что светится в лучах солнца.

---

\* Об этой горной вишне существует остроумная поговорка, которая иллюстрирует любовь японцев к каламбурам. Чтобы полностью оценить ее, читателю следуют знать, что японские существительные не имеют различия между единственным и множественным числом. Слово «ха» в произношении может означать лист или зубы; а слово «хана» — цветы или нос. Ямадзакура распускает свои ха (листья) раньше, чем свои хана (цветы). Поэтому человека, чьи ха (зубы) выступают дальше его хана (носа), называют «ямадзакура». Прогнатизм, при котором челюсть выступает вперед, — явление не столь уж редкое в Японии.

Окультуренные и неокulturенные японские вишневые деревья в равной степени служат символами. Их безупречной чистоты соцветия воспринимаются как символ утонченности чувств и безупречности жизни, что присуще высокому этикету и истинному благородству. «Как цветок вишни — первый среди цветов, так же и воину надлежит быть первым среди людей», — гласит старая пословица.

Затеняя западную оконечность этого сада и раскинув свои гладкие и темные ветви над навесом веранды, стоит великолепное *умэ-но-ки* — японское сливовое дерево, очень старое и изначально высаженное здесь, как и в других садах, несомненно, чтобы любоваться его цветением. Уме-но-ки в цвету\* в самом начале весны — зрелище едва ли менее поразительное, чем цветение вишни, которая не зацветет еще на протяжении целого месяца; и цветение той и другой отмечается всенародными праздниками. Но хотя и самые прославленные, эти цветы не единственные, удостоенные любви японцев. Глициния, вьюнок, пион — каждый в свой сезон — создают достаточно привлекательные картины цветения, чтобы выманивать на лоно природы, дабы полюбоваться ими, население целых городов. В Идзумо цветение пионов особенно восхитительно. Лучшее место наслаждаться этим зрелищем — островок Дайкон-сима на озере Накауми, примерно в одном часе хода от Мацуэ. В мае весь этот остров объят малиновым пламенем цветущих пионов, и учащихся государственных школ даже отпускают с уроков, чтобы они могли видеть эту великолепную картину.

Хотя цветок сливы по красоте, бесспорно, соперник *сакура-но-хана*, японцы сравнивают женскую красоту с цветком вишни и никогда с цветком сливы. В то же время женская добродетель и милый нрав сравниваются с *умэ-но-хана*, но никогда с соцветием вишни. Грациозную девушку уподобляют стройной иве\*\*, добросердечную — цветущему сливовому дереву,

---

\* Имеются три заслуживающих упоминания разновидности: одна дает красные цветы, другая — розовые и белые и еще одна — чисто-белые.

\*\* Одним из нескольких фразеологизмов, обычно используемых для сравнения стройной красавицы с ивовым деревом, служит *янаги-госи* — «ивовая талия».

очаровательную — вишне в цвету. Старояпонские поэты даже находили в цветках аналогии с женскими движениями:

*Татэба сякуяку\**,  
*Суварэба ботан\*\**.  
*Аруку сугата ва*  
*Химэюри\*\*\* но хана*.

Когда стоит, она — сякуяку,  
 Когда сидит — ботан.  
 Очарование ее фигуры, когда она идет,  
 Подобно очарованию химэюри.

Более того, даже имена самых простых сельских девушек — это зачастую названия красивых деревьев или цветов, с добавлением почтительного префикса *О-\*\*\*\**: *О-Мацу* (Сосна), *О-Такэ* (Бамбук), *О-Умэ* (Слива), *О-Хана* (Цветок), *О-Инэ* (Рисовый Колосок), не говоря уже о профессиональных «цветочных» именах танцовщиц и дзёро. Велись довольно жаркие споры по поводу того, не следует ли искать происхождение некоторых имен девушек от названий деревьев в народном восприятии дерева, как символа долголетия, счастья либо удачи. Но как бы то ни было, мы имеем множество доказательств того, что японские сравнения женщины с деревьями и цветами с точки зрения эстетики ни в коей мере не уступают нашим собственным.

## VI

Убеждение, что деревья — во всяком случае, японские деревья, обладают душой, не покажется противоестественной фанта-

\* *Paeonia albiflora*. Это сравнение означает утонченную красоту (*Paeonia albiflora* — белый цветок (лат.) был первым белым пионом, распространившимся из Китая в Европе. Ныне принято ботаническое название *Paeonia lactiflora* — пион молочноцветковый. — Прим. ред.).

\*\* Сравнение с ботан (древовидным пионом) может в полной мере оценить только тот, кому знаком этот японский цветок.

\*\*\* Некоторые говорят *кэсюри* (мак) вместо «химэюри». Химэюри — это изящная разновидность лилии (*Lilium callosum*).

\*\*\*\* В высших сословиях японского общества уважительное «О» перед именами девочек, как правило, не употребляется, а дочерям не дают цветочных имен.



зией тому, кто видел цветение умэ-но-ки и сакура-но-ки. Это убеждение широко распространено в Идзумо и в иных местностях. Оно не согласуется с буддистской философией, и всё же в каком-то смысле кажется ближе к вселенской истине, нежели западное представление о деревьях как о «вещах, созданных для пользы человеческой».

Существует ряд необычных суеверий в отношении определенных деревьев; они сродни некоторым вест-индским верованиям, сыгравшим свою роль в обуздании беспощадной вырубке деревьев ценных пород. Япония, как и тропический мир, имеет свои деревья-демоны. Из них дерево *эно-ки* (*Celtis Willdenowiana*<sup>48</sup>) и *яна-ги* (плакучая ива) пользуются репутацией особенно духоприимных; ныне они редко встречаются в старых японских садах. По поверью, оба эти дерева обладают способностью являться в виде призраков. В Идзумо бытует поговорка: «*Эно-ки га бакэру*». В японском словаре вы найдете следующие значения слова «бакэру»: «превращаться в кого-либо, что-либо», «принимать чей-либо образ», «быть измененным» и т. п. Впрочем, «демоническая сущность» этих деревьев шире словарных значений глагола «бакэру». Существует представление, что само дерево не меняет формы и не покидает места, на котором растет, но из дерева выходит и бродит повсюду, принимая различные облики, его призрак, который зовется *Ки-но о-бакэ\**. Чаще всего он встречается в облике красивой женщины. Призрак дерева почти не говорит и редко отваживается отойти далеко от своего дерева. Если к нему приблизиться, он немедленно исчезает, скрываясь в стволе или в листве. Говорят, что, если

---

\* Хирата, по словам Э. М. Сатоу, приводит любопытное синтоистское учение, которому это представление, по-видимому, в какой-то мере близко. Согласно этому учению, божественное существо, прибегнув к процессу расщепления, производит то, что называется *ваки-ни-тама* — отдельные души, у которых разные функции. Великий бог Оо-куни-нуси-но-Ками, как утверждает Хирата, имеет три такие отдельные души: грубую душу (*ара-ми-тама*), которая наказывает, добрую душу (*ниги-ми-тама*), которая прощает, и благодетельную душу (*саки-ми-тама*), которая благословляет. Имеется синтоистское предание о том, как грубая душа этого бога однажды встретила добрую душу, совершенно ее не признав.

сделать надрез на старом яна-ги или молодом эно-ки, из надреза потечет кровь. Когда такие деревья совсем молоды, им не приписывается никаких сверхъестественных свойств, но чем старше они становятся, тем больше мистической силы обретают.

Существует трогательная легенда — сродни древнегреческому мифу о дриадах — о плакучей иве, которая росла в саду одного самурая в Киото. По причине роковой репутации, хозяин усадьбы хотел ее срубить, но другой самурай отговорил его, сказав: «Лучше продайте ее мне, и я пересажу ее в свой сад. У этого дерева есть душа, было бы жестоко погубить его жизнь». Таким вот образом приобретенная и пересаженная, эта яна-ги хорошо прижилась и пышно расцвела в своем новом доме, а ее дух из благодарности принял облик красивой женщины, которая стала женой самурая, проявившего к ней участие. Результатом этого союза стал прекрасный мальчик. Через несколько лет даймё, которому эта земля принадлежала, распорядился срубить дерево. Жена горько разрыдалась и впервые раскрыла мужу всю правду.

— Я знаю, что должна умереть, — сказала она, — но наш ребенок будет жить, а ты всегда будешь любить его. Эта мысль — единственное мое утешение.

Напрасно изумленный и потрясенный муж пытался удержать ее. Простившись с ним навсегда, она исчезла в дереве. Нет нужды говорить, что самурай предпринял всё, что только было в его силах, чтобы убедить даймё отказаться от своего намерения, но ничего у него получилось. Даймё твердо решил использовать это дерево для ремонта великого буддистского храма Сан-дзю-сан-гэн-до\*. Дерево было повалено, но, упав, оно вдруг сделалось столь тяжелым, что даже триста человек не могли сдвинуть его с места. Тогда ребенок взялся ручкой за ветку и молвил: «Пойдем». И дерево последовало за ним, скользя по земле, пока они не пришли во двор храма.

---

\* Возможно, это самый внушительный из всех буддистских храмов в Киото. Он посвящен богине милосердия Каннон Тысячерукой, и говорят, что в нем имеется 33 333 ее образа.

Хотя и говорят, что оно бакэмоно-ки (дерево-призрак), эно-ки иногда удостаивается высочайших религиозных почестей, поскольку дух бога по имени Кодзин<sup>49</sup>, как считается, обитает именно в очень старых деревьях эно-ки; поэтому перед ними воздвигают храмы, в которых люди возносят свои молитвы.

## VII

Второй сад, что на северной стороне, — мой любимый. В нем нет больших растений. Он усыпан голубоватым галечником, а посреди него находится маленький пруд — миниатюрное озеро, окаймленное редкими растениями, с крошечным островком, где есть крошечные горы, покрытые карликовыми персиковыми деревьями, соснами и азалиями; некоторым из них, возможно, больше ста лет, хотя высотой они не более одного фута. Тем не менее это творение, если смотреть на него так, как было задумано, совсем не представляется глазу миниатюрным. При взгляде под определенным углом зрения из гостиной-дзасики создается впечатление, что это берег настоящего озера с настоящим островом, хотя до этого острова можно добросить камень. Настолько тонким было искусство садовника, который замыслил всё это и который уже столетие, как упокоился под кедром Гэссэджи, что иллюзия рассеивается лишь тогда, когда замечаешь, что на острове стоит *исидоро* — каменный фонарь. Своей величиной *исидоро* выдает истинное расстояние до острова, и я не думаю, что он был там установлен в то же самое время, когда создавался этот сад.

Местами на краю пруда, почти вровень с поверхностью воды, уложены большие плоские камни, на которые можно встать или присесть на корточки, чтобы наблюдать за озерным народцем или ухаживать за водными растениями. Здесь имеются красивые водные лилии (*Nuphar Japonica*), ярко-зеленые дисковидные листья которых маслянисто плавают по поверхности, а также множество лотосов двух видов: с розовыми и чисто-белыми цветами. Здесь есть ирисы, растущие вдоль берега, с фиолетовыми цветами призматической формы, а также декоративные травы, папоротники и мхи. Но пруд этот, главным образом, занят лотосами, которые придают

ему особое очарование. Истинное наслаждение наблюдать каждую стадию их удивительного роста — от того, как начинает распускаться первый листок, и до того, как опадает последний цветок. Особенно интересно наблюдать за лотосами в дождливые дни. Их крупные чашеобразные листья, раскачивающиеся высоко над поверхностью пруда, собирают в себе дождевую воду и какое-то время накапливают ее, но каждый раз, когда вода в листе доходит до определенного уровня, стебель внезапно сгибается, с громким всплеском опорожняет лист и затем распрямляется вновь. Дождевая вода на листе лотоса — любимая тема японских художников, работающих по металлу, поскольку лишь металл способен воспроизвести движение и цвет воды, стекающей по зеленой маслянистой поверхности.

## VIII

Третий сад очень велик, он протянулся от огороженного участка с лотосовым прудом до самого подножия лесистых холмов, служащих северной и северо-восточной границей этого старинного квартала самураев. Прежде всё это широкое ровное пространство было занято бамбуковой рощей, но сейчас это пустошь, заросшая травой и дикими цветами. В северо-восточном углу находится великолепный колодец, ледяная вода из которого подается в дом по совершенно гениальному маленькому водопроводу из бамбуковых труб, а в северо-западной оконечности, скрытое за высоким бурьяном, стоит очень маленькое каменное святилище Инари с двумя сидящими перед ним маленькими каменными лисами. Святилище и фигуры обветшали и искрошились, они густо покрыты пятнами темно-зеленого мха.

На восточной стороне дома маленький квадратный клочок земли на этом большом участке сада по-прежнему обрабатывается. Он целиком занят хризантемами, защищенными от проливных дождей и палящего солнца наклонными рамами из легкого дерева, обклеенными листами белой бумаги, наподобие сёдзи; они установлены, как навесы, на тонких бамбуковых шестах. Существует небольшое предание, связанное с хризантемами, которое я осмелюсь здесь пересказать.

В Японии есть место, где, по причинам, которые далее будут изложены, считается, что выращивание хризантем приносит несчастье. Место это — красивый маленький городок Химэдзи в провинции Харима. В Химэдзи находятся руины огромного замка с тридцатью башнями — когда-то там жил даймё с доходом в сто пятьдесят шесть тысяч коку риса в год. Так вот, в доме одного из главных вассалов этого даймё была служанка из хорошей семьи по имени О-Кику — а имя Кику означает цветок хризантемы. Ее заботам было доверено много драгоценных вещей, и среди прочих — десять дорогих золотых блюд. Одно из них пропало, найти его так и не удалось, и эта девушка, не зная, как иначе доказать свою невиновность, утопилась в колодце. И теперь еженощно в окрестностях можно услышать, как ее призрак медленно, с плачем пересчитывает блюда: *Ити-май, ни-май, сан-май, ё-май, го-май, року-май, сити-май, хати-май, ку-май...* Затем раздаётся крик отчаяния и после рыданий вновь голос девушки пересчитывает блюда: «Одно — два — три — четыре — пять — шесть — семь — восемь — девять...»

Утверждают, что дух О-Кику переселился в маленькое насекомое, голова которого отчасти, если напрячь воображение, напоминает голову призрака с длинными растрепанными волосами. Называется это насекомое *О-Кику-муси*, что значит «муха О-Кику», и нигде, кроме Химэдзи, не встречается. Об О-Кику была написана знаменитая пьеса «Бансю-О-Кику-но-Сара-ясики» («Поместье блюда О-Кику из Бансю»), которая идет во всех известных театрах.

Указание на Бансю — по мнению некоторых, это искаженное название одного из старинных кварталов Токио — вносит определенную путаницу в эту историю. Жители Химэдзи, впрочем, продолжают утверждать, что О-Кику была их землячкой и даже указывают место в той части своего города, что сейчас называется Го-Кэн-Ясики, где она жила. И они, наверное, правы — ведь выращивание хризантем в Го-Кэн-Ясики считается делом, сулящим несчастье, и поэтому там никто никогда, как мне сказали, хризантемы теперь не выращивает.

## IX

А сейчас поговорим об удзё, или созданиях, наделенных желаниями.

В садах имеются четыре вида лягушек: три обитают в лотосовом пруду и один живет на деревьях. Древесная лягушка — очень милое маленькое существо изумительного зеленого цвета, она издает пронзительный крик, почти той же высоты, что и *сэми* (цикады). Ее называют здесь *ама-гаэру* — «дождевая лягушка», поскольку ее кваканье, как и ее сородичей в других странах, служит предвестником дождя. Прудовые лягушки называются *баба-гаэру*, *сина-гаэру* и *Тоно-сан-гаэру*. Из них названная первой — самая большая и самая безобразная. Ее цвет неприятен, а ее полное название («баба-гаэру» — это лишь краткая пристойная форма) столь же оскорбительно, сколь отвратительна ее окраска. Сина-гаэру, или «полосатая лягушка», едва ли может назваться симпатичной — разве что в сравнении с ранее упомянутым созданием. А вот Тоно-сан-гаэру, нареченная так в честь знаменитого даймё, оставившего после себя память об истинном великолепии, действительно красива — она окрашена в изумительный бронзовый цвет с бордовым отливом.

Помимо этих лягушек, в саду живет огромное неуклюжее пучеглазое создание, которое называют здесь *хики-гаэру*; этот термин обычно используется в отношении лягушки-быка, но, как я полагаю, это жаба. Она заявляется в дом почти ежедневно, поскольку привыкла, что ее кормят, и, похоже, не боится даже незнакомцев. Мои люди считают ее гостем, приносящим удачу, и приписывают ей способность затягивать в рот всех комаров в комнате, просто сделав глубокий вдох. Но как бы ее ни почитали садовники и прочие, существует легенда о жабе-демоне древних времен, которая при таком вдохе затягивала в рот не насекомых, а людей.

В пруду обитает множество маленьких рыбок, тритонов с ярко-красными брюшками — *имори* и великое множество мелких жуков-водомеров, называемых здесь *маймай-муси*, которые носятся по водной поверхности так быстро, что почти невозможно разглядеть их форму. С маймай-муси обычно сравнивают человека, который бесцельно мечется под влиянием нервного возбуждения. Также имеются какие-то красивые

улитки с желтыми полосками на их раковинах. У японских детей есть песенка-заклинание, которая, как полагают, способна заставить улитку высунуть свои рожки:

*Дайдай-муси\*, дайдай-муси, цуно титто дасарэ!  
Амэ кадзэ фуку кара цуно титто дасарэ!*

Улитка, улитка, высунь рожки совсем немножко!  
Дождливо и ветрено, поэтому высунь рожки совсем немножко!

Площадкой для игр у детей из более высоких сословий всегда был семейный сад, а у детей бедняков — храмовый двор. И именно в саду малыши впервые узнают что-то из удивительной жизни растений и знакомятся с чудесами мира насекомых; здесь же они впервые слышат прелестные легенды и песни о птицах и цветах, которые составляют такую очаровательную часть японского фольклора. Поскольку домашнее обучение ребенка в основном возлагается на мать, уроки доброты к животным внушаются ему с самых ранних лет, и их результаты сильно сказываются на всей его последующей жизни. Маленькие японки, играющие с насекомыми или мелкими животными, редко причиняют им вред и, как правило, отпускают на волю, после того как вдоволь наигрались с ними. Маленькие мальчики далеко не столь добры, особенно если оказываются вне поля зрения родителей или опекунов. Но если мальчика застают за каким-то жестоким занятием, его принуждают почувствовать стыд за свой поступок, и, кроме того, он слышит буддистское предостережение: «Твое перерождение будет несчастным, если ты творишь жестокие дела».

Где-то среди камней в пруду живет маленькая черепашка — вероятно, оставленная в саду прежними арендаторами этого дома. Она очень мила, но ухитряется оставаться невидимой неделями кряду. В народной мифологии черепаха является слугой божества Компира; если набожный рыбак обнаруживает в своих сетях черепаху, он пишет у нее на спине иероглифы,

---

\* Дайдай-муси улиток называют в Идзумо. Словарное же слово *дэдэмуси*. Японцы полагают, что улитка очень любит влажную погоду; того, кто много гуляет под дождем, сравнивают с улиткой — *дэдэмуси но ёна*.

означающие «слуга божества Компира», вливает ей саке и отпускает на волю. Считается, что черепахи очень любят саке.

Правда, насчет того, чьи слуги черепахи, есть разные мнения. Некоторые говорят, что Компира служит только сухопутная «каменная черепаха»; морская же черепаха находится в услужении подводного императора. Существует поверье о чудесной способности морской черепахи создавать одним своим выдохом облако, туман или великолепный дворец. Она является одним из персонажей старинной сказки об Урасима Таро<sup>50</sup>. Черепахи, по народным представлениям, живут тысячу лет и поэтому служат в японском искусстве одним из самых распространенных символов долголетия. В изображении местных художников черепаха часто имеет весьма странный хвост, или, точнее, множество маленьких хвостиков, которые тянутся за ней подобно нижней кромке соломенного плаща *мино*, из-за чего ее называют *мино-гамэ*. Следует сказать, что некоторые из черепах, содержащихся в священных водоемах буддистских храмов, в самом деле достигают весьма почтенного возраста, и бывает так, что к панцирям этих созданий прикрепляются и тянутся за ними водные растения. Миф о *мино-гамэ*, как предполагается, как раз и обязан происхождением попыткам древних художников изобразить, как выглядят такие облепленные водорослями черепахи.

## Х

В самом начале лета лягушки на удивление многочисленны и с наступлением сумерек задают такие концерты, что пером описать невозможно. Но с каждой проходящей неделей их ночные буйства становятся всё тише, а их число убывает под натиском множества врагов. Большое семейство змей, некоторые длиной в три фута, время от времени совершает набеги на эту колонию. Жертвы издают жалобные крики, которые находят живой отклик, когда только это возможно, у кого-нибудь из домочадцев, и много лягушек было спасено моей юной служанкой, которая легкими ударами бамбуковой трости заставляет змею отпустить свою добычу. Эти змеи — прекрасные пловцы. Они вольготно чувствуют себя в саду, но появляются здесь только в жаркие дни. Никому из моих людей и в голову не



придет поранить или убить одну из них. Более того, в Идзумо говорят, что убить змею — к несчастью.

— Если вы убьете змею, которая ничем вам не угрожала, — уверял меня один крестьянин, — вы потом найдете ее голову в *комэбицу\**, когда снимете крышку.

Но змеи пожирают сравнительно мало лягушек. Дерзкие коршуны и воробьи — вот самые неумолимые их враги; есть также очень милая ласка, живущая под кура (сараям) и ничуть не стесняющаяся выхватить рыбу или лягушку из пруда на глазах у хозяина усадьбы. Кроме того, есть кот, который браконьерствует в моих заказниках — худой и вечно голодный, виртуозный воюга, которого я неоднократно, но каждый раз безуспешно, пытался отучить от бродяжничества. Отчасти в силу аморального характера этого кота, отчасти оттого, что ему случилось иметь длинный хвост, за ним закрепилась скверная репутация, и по общему убеждению, он — *некомата* (кот-демон).

В Идзумо вырасти котятam длиннохвостыми дозволяется крайне редко. Ибо считается, что пресечь естественную склонность кота обратиться в беса можно лишь усекновением его хвоста, пока он котенок. Коты, по народным поверьям, — это чародеи, которые обладают магической силой пускать мертвецов в пляс. Коты, как считают японцы, неблагодарны. «Корми собаку три дня, и она будет помнить твою доброту три года; корми кота три года, и он забудет твою доброту через три дня», — гласит японская пословица. Коты вредоносны: они раздирают циновки, дырявят сёдзи и точат свои когти о стойки токонома. А все дело в том, что коты были прокляты — ведь только кот и ядовитая змея не оплакивали смерть Будды, и поэтому им никогда не узнать блаженства. В силу этого, а также иных причин, слишком многочисленных, чтобы их здесь излагать, котам в Идзумо не очень жалуют, и большую часть своей жизни им приходится проводить на свежем воздухе.

## XI

Не менее одиннадцати видов бабочек побывали в окрестностях лотосового пруда за последние дни. Самая распространен-

---

\* Короб, в котором хранится вареный рис.

ная — снежно-белая бабочка. Считается, что больше всего ее привлекает *на*, вид рапса; когда маленькие девочки видят эту бабочку, они поют:

*Тё-тё, тё-тё, на но ха ни томарэ;  
На но ха га изнара, тэ ни томарэ.*

Бабочка, бабочка, садись на листок на;  
Но если не любишь листок на, садись на мою руку.

Но самые интересные насекомые — это, несомненно, *сэми*. Эти японские древесные сверчки намного более выдающиеся исполнители, чем даже удивительные цикады тропиков. При этом они не столь утомительны, поскольку почти для каждого месяца, на протяжении всего теплого времени года, имеется свой, отличный от остальных вид *сэми*, со своим отличным от остальных репертуаром. Имеется, как я слышал, семь видов, но я познакомился только с четырьмя. Первым в моих деревьях можно услышать *нацу-дзэми*, или летнего *сэми*: он издает звук, подобный японскому слогу *дзи*, начинающийся сипло, как при одышке, и медленно нарастающий до пронзительного свиста на самой высокой ноте, похожего на звук, который издает паровоз, а затем вновь превращающийся в астматический хрип. Это *дзи-и-и-и-и-и-и-и-и* настолько оглушающее, что когда два-три *нацу-дзэми* подбираются близко к моему окну, я бываю вынужден их прогнать. К счастью, на смену *нацу-дзэми* вскоре приходит *минмин-дзэми*, куда более утонченный музыкант, чье название происходит от издаваемой им чудесной ноты. Говорят, что он «поет, как буддистский жрец, декламирующий сутру», и в самом деле, когда слышишь его впервые, с трудом веришь, что это всего лишь цикада. После *минмин-дзэми* в начале осени наступает черед красивого зеленого *сэми* — *хигураси*, который издает удивительно чистый звук, подобный частому звону маленького колокольчика — *кана-кана-кана-кана-кана*. Но самый изумительный *сэми* появляется еще позже — это *цуку-цуку-боси*. Я полагаю, что этому созданию нет равного во всем мире цикад: его музыка совершенно неотличима от пения птицы. В Идзумо звучание его песни передается так:

*Цуку-цуку уису\**,  
*Цуку-цуку уису,*  
*Цуку-цуку уису, —*  
*Уи-оосу,*  
*Уи-оосу,*  
*Уи-оосу,*  
*Уи-оос-с-с-с-с-с-с-с-су.*

Однако сэми не единственные музыканты в саду. Еще два замечательных создания дополняют их оркестр. Первое — это красивый ярко-зеленый кузнечик, известный японцам под любопытным именем *хотокэ-но-ума*, что значит «конь мертвеца». По форме голова этого насекомого и в самом деле имеет некоторое сходство с конской головой — отсюда и эта игра воображения. Это удивительно дружелюбное создание, позволяющее взять себя в руки без какого-либо сопротивления и, как правило, вполне вольготно чувствующее себя в доме, куда оно часто заходит безо всяких церемоний. Оно издает очень тонкий звук, который японцы записывают в виде повторения слогов *дзюн-та*; да и самого кузнечика иногда так и называют: *дзюнта*. Другое насекомое — тоже зеленый кузнечик, несколько более крупный и намного более робкий; за напев его называют *гису\*\**:

*Тен,*  
*Гису;*  
*Тен,*  
*Гису;*  
*Тен,*  
*Гису;*  
*Тен... (и т. д.)*

В жаркие солнечные дни над прудом парят несколько видов стрекоз (*томбо*). Одна из них — самое прекрасное создание этого рода из всех, которых я когда-либо видел, сплошь отливающее неопишными металлическими цветами и невообразимо изящное, — называется *Тэнси-томбо* («императорская

---

\* Некоторые говорят *тёкко-тёкко-уису*, при этом конечный звук «у» едва ли произносится.

\*\* Произносится почти как *гиис*.

стрекоза»). Еще одна — самая крупная из японских стрекоз и при этом достаточно редкая. Про этот вид говорят, что мужских особей в нем намного больше, чем женских. Наверняка это я утверждать не могу, но за что могу полностью поручиться, так это за то, что если вы поймаете женскую особь, можно почти сразу же привлечь мужскую, выставив пленницу напоказ. Из этих соображений мальчишки стараются добыть женскую особь и, поймав ее, привязывают на нитке к какой-нибудь ветке, распевая любопытный куплет, который в оригинале звучит так:

*Конна дансё Корай о Адзума но мэто ни макэтэ  
Нигэру ва хадзи дэва найкай?*

Ты, мужчина, повелитель Кореи,  
неужели тебе не стыдно убежать  
от повелительницы Востока?

Эта песенка-дразнилка заключает в себе аллюзию на историю покорения Кореи императрицей Дзингу<sup>51</sup>.

Что же касается самца, то он неизменно прилетает, чтобы, в свою очередь, быть пойманным.

## XII

Теплыми ночами всякого рода незваные гости заполняют дом в превеликом множестве. Две разновидности комаров делают всё, что в их силах, чтобы хозяевам жизнь стала не в радость, а кроме того, им хватает ума, чтобы не слишком приближаться к лампам; однако нет никакой возможности удержать сонмы других безобидных созданий от их стремления погибнуть в пламени. Самые многочисленные жертвы из всех, которые налетают подобно проливному летнему дождю, зовутся *санэмори*. Во всяком случае, так их называют в Идзумо, где они сильно вредят молодым побегам риса. Это крошечное создание величиной и цветом почти такое же, как неочищенное зернышко риса.

Следует сказать, что Санэмори — это имя знаменитого воина древних времен из клана Гэндзи. Существует легенда

о том, как во время конного поединка его конь поскользнулся и упал на рисовом поле, из-за чего Санэмори был убит своим противником. Впрочем, смерть эта была весьма своеобразна: воин превратился в насекомое — нещадного пожирателя риса. В определенные летние ночи крестьяне Идзумо разводят на рисовых полях костры, чтобы привлечь это насекомое, бьют в гонги и трубят в бамбуковые трубы, распевая при этом: «О-Санэмори, окажи милость, соизволь прийти сюда!» Когда жучков собирается достаточно много, канниси произносит молитву, и сжигается соломенная фигура, изображающая всадника верхом на коне; как вариант, эту фигуру сбрасывают в соседний ручей или канал. Этим обрядом, согласно поверью, поля очищаются от вредоносного насекомого. Связанная с ним легенда могла возникнуть в силу того обстоятельства, что его тельце с крыльями имеет некоторое сходство со шлемом японского воина\*.

Следующие по численности среди жертв огня — это мотыльки; некоторые из них весьма необычны и красивы. Самый замечательный — это огромное создание, известное в народе под названием *окори-тётё* — «малярийный мотылек»; бытует поверье, что он заносит перемежающуюся лихорадку в любой дом, куда залетает. Его тело примерно того же веса и почти столь же сильное, как у самой крупной колибри, а его сопро-

---

\* Похожую легенду связывают с маленьким желтым насекомым *сиван*, которое вредит огурцам. Говорят, что человек по имени Сиван когда-то был врачом. Будучи уличен в любовной интриге, он вынужден был спасаться бегством, но запутался в огуречных стеблях, упал, был настигнут и убит, а его дух превратился в насекомое, нещадно уничтожающее огуречные стебли. В зоологической и ботанической мифологии Японии существует множество легенд, в которых угадывается любопытное сходство с древнегреческими преданиями о превращениях. Некоторые из самых примечательных образцов этого фольклора возникли, однако, в относительно новые времена. Легенда о крабе, называемом *хэйкэ-гани*, встречающемся в Нагано, служит тому примером. В хэйкэ-гани, как считается, превратились души воинов клана Тайра, погибших в великом морском сражении при Дан-но-Ура (ныне Сэто-Найкай) в 1185 году. Панцирь хэйкэ-гани и в самом деле изумляет. Он собран в складки и напоминает мрачный лик — точное подобие одной из тех черных железных масок, которые феодальные воины надевали во время битвы.

тивление, когда он, сжатый в руке, старается высвободиться, поражает своей силой. В полете он издает очень громкий стрекочущий звук. Крылья одного экземпляра, изученного мною, достигали в размахе пяти дюймов от кончика до кончика и всё же казались маленькими относительно веса его тела. Они были густо покрыты темно-коричневыми и серебристо-серыми крапинами.

Однако многие крылатые ночные пришельцы умеют, как и комары, избегать роковой лампы. Самый фантастичный из визитеров — это *торо*, он же *кама-кири*, в Идзумо называемый *кама-какэ*, — светло-зеленый богомол, которого ужасно боятся дети, поскольку он больно кусается. Кама-какэ очень велик. Я видел экземпляры более шести дюймов в длину. Блестящие его глаза ночью кажутся черными, но днем видно, что они цвета травы, в какой окрашено и всё его тело. Богомол удивительно агрессивен. Я видел, как один, на которого напала большая сильная лягушка, легко обратил своего противника в бегство. В конце концов он пал-таки жертвой других обитателей пруда, но потребовались объединенные усилия нескольких лягушек, чтобы сокрушить это чудовищное насекомое, и то исход битвы был решен, лишь когда им удалось затащить кама-какэ в воду.

Другие посетители дома — это жуки различных расцветок и некое создание, вроде небольшого таракана, называемое *гоки-кабури*, что означает «чашку-на-голове-носящий». Утверждается — разумеется, необоснованно, — что гоки-кабури любит поедать человеческие глаза, а посему является заклятым врагом Якуси-Нёрая<sup>52</sup> из Итибаты, который излечивает глазные болезни. По этой причине считается, что убить гоки-кабури — дело благое и будде угодное. Всегда желанные гости в доме — красивые светлячки (*хотару*), которые влетают почти бесшумно и сразу же отправляются на поиски самого темного уголка, слегка мерцая во мраке ночи подобно искоркам, гонимым нежным ветерком. Считается, что они очень любят воду; поэтому дети поют им такой куплет:

*Хотару коэ мидзу номасё;  
Ати но мидзу ва нигай дзо;  
Коти но мидзу ва амай дзо.*

Прилетай, светлячок, я напою тебя водой;  
Там вода такая горькая;  
А здесь вода такая сладкая.

Прелестная серая ящерка, которая сильно отличается от тех, что обычно навешают сад, также появляется ночью и преследует свою добычу, бегая по потолку. Иногда необычайно крупная многоножка пытается повторить тот же самый трюк, но с гораздо меньшим успехом, по причине чего вынуждает схватить себя каминными щипцами и выбросить в ночную тьму.

Изредка появляется огромный паук *мияма-гумо*, что значит «горный паук». Это создание кажется вполне безобидным. Если его поймать, он будет притворяться мертвым, пока не убедится, что на него не смотрят, после чего удирает с удивительным проворством. Он безволосый и видом отличается от тарантула — *фукуро-гумо*. В этих местах обитают еще четыре вида пауков: *тэнага-кумо* — «длиннорукий паук», *хирата-кумо* — «плоский паук», *дзи-кумо* — «земляной паук» и *тота-тэ-кумо* — «запирающий дверь паук». Большинство пауков считаются дурными существами. Люди говорят, что паука, замеченного где бы то ни было в ночное время, следует убить, так как все пауки, появляющиеся по ночам, — бесы. Пока люди не спят и настороже, подобные создания остаются маленькими и неприметными, но когда все крепко засыпают, они принимают свою истинную бесовскую форму, превращаясь в огромных чудовищ.

### XIII

Высокоствольный лес на холме за садом наполнен пернатыми обитателями. В нем живут камышовки, совы, дикие голуби, несметное полчище ворон и какая-то необычная птица, издающая по ночам странные звуки — протяжные низкие уханья: *хо-о, хо-о*. Она называется *авамаки-дори*, что значит «птица-проса-сеятель», — когда крестьяне слышат ее крик, они понимают, что пришло время высевать просо. Сама она — птичка-невеличка коричневой окраски, крайне пугливая и, насколько мне известно, ведущая исключительно ночной образ жизни.

Очень редко раздается ночью среди этих деревьев еще более странный крик — как будто кто-то кратко и часто вскрикивает от боли: *хо-то-то-ги-су*. Это кричит птица, которая так и называется — *хототогису*. Услышать ее можно только ночью, чаще при полной луне; кричит она, паря где-то высоко в небе, никем не видимая. О хототогису рассказывают невероятные вещи: говорят, например, что она не из нашего мира и прилетает из Страны Мрака, где живет среди лишенных солнечного света тамошних гор Сидэ, над которыми пролетают все души, когда направляются к месту божьего суда. Она будто бы всегда появляется в конце пятого месяца по древнему лунному календарю, и крестьяне, услышав ее крик, говорят: «Пора сеять рис, ведь *Сидэ-но-таоса* уже с нами». Слово *таоса* означает деревенского старосту, но почему хототогису зовут «таоса Сидэ», я не знаю. Возможно, ее считают душой из какой-то деревушки в мистических горах Сидэ, где призраки имеют обыкновение останавливаться на отдых во время своего утомительного пути во владения Эмма<sup>53</sup> — бога, повелевающего смертью.

Крик хототогису толкуется по-разному. Одни утверждают, что птица на самом деле не повторяет свое собственное имя, а спрашивает: «*Хондзон какэта ка?*» (Хондзон\* вывесили?) Другие, основывая свое толкование на мудрости китайцев, доказывают, что крик хототогису означает «Спору нет, лучше вернуться домой» и адресован тем, кто странствует вдали от родных мест. По их мнению, каждого, кто услышит голос хототогису, находясь в далеких от дома провинциях, неминуемо охватит острая тоска.

Поэты посвятили хототогису немало стихов. Один написал:

*Хито коэ ва.  
Цуки га найта ка  
Хототогису!*

---

\*Хондзон здесь означает священное *какэмоно* — картину, вывешиваемую в храмах для всеобщего обозрения только в день рождения Будды, который приходится на восьмой день четвертого месяца по старому календарю. Хондзон также означает главное изображение в буддистском храме.



Одинокий голос раздался.  
Это Луна вскричала?  
Хототогису лишь!

А вот стихи другого поэта:

*Хототогису  
Накицуру ката о Нагамурэба —  
Тада ариакэ но  
Цуки дзо нокорэру.*

Когда я смотрю туда,  
Откуда слышался крик  
Хототогису,  
Там, увы, ничего не вижу,  
Кроме бледнолицей утренней луны.

Городской житель может прожить жизнь, ни разу не услышав хототогису. Посажённое в клетку, это маленькое создание будет упорно хранить молчание, пока не умрет. Поэты часто понапрасну ждут ночи напролет, от заката до рассвета, не прячась от утренней росы, чтобы хоть раз услышать ее странный крик, внушавший им вдохновение. Но те, кому довелось услышать хототогису, находят ее крик столь скорбным, что сравнивают его с предсмертным криком смертельно раненого:

*Хототогису  
Ти ни наку коэ ва  
Ариакэ но  
Цуки ёри хока ни  
Кику хито мо наси.*

Кроме одной лишь  
Утренней луны,  
Никто не слышал  
Крик хототогису,  
Словно истекающий кровью.

Я ничего еще не сказал о совах Идзумо. В их отношении я ограничусь цитированием сочинения одного из моих японских учеников:

«Сова — зловредная птица, которая видит в темноте. Маленьким детям, которые капризничают, грозят, что сова прилетит и заберет их; ибо сова кричит: “*Хо! Хо! Соротто кока! Соротто кока!*”, что значит: “Эй ты! Что, мне уже можно войти?” Она также кричит: “*Норицукэ хосэ! Хо! Хо!*”, что значит “Готовь крахмал, завтра будешь стирать!” И когда женщины слышат такой крик, они знают, что завтра будет погожий день. Она также кричит: “*Тотото!*” — “Мужчина умирает!” и “*Котоккокко!*” — “Мальчик умирает!”. Поэтому люди ненавидят ее. А воробы ненавидят ее так сильно, потому что с ее помощью ловят ворон. Крестьянин усаживает сову на рисовом поле, и все воробы слетаются, чтобы заклевать ее, и тут же попадают в силки. Это должно служить нам уроком, не проявлять открыто своей неприязни к другим людям».

Коршуны, целый день парящие над городом, не живут в ближних окрестностях. Их гнезда далеко, на голубых вершинах высоких гор; но большую часть своего времени они занимаются ловлей рыбы и покражами с задних дворов. Они совершают внезапные и стремительные налеты на сад; их зловещий покрик — *ни-ёрооёроо, ни-ёрооёроо* — от рассвета до заката время от времени раздается над городом. Из всех пернатых созданий они, без сомнения, самые наглые — еще наглее, чем даже их собратья-грабители воробы. Коршун камнем падает из поднебесья, чтобы умыкнуть карпа из корзины торговца рыбой или пирожок из руки ребенка, и стрелой мчится обратно к облакам, прежде чем жертва грабежа успеет поклониться за камнем. Отсюда поговорка: «Он выглядит таким изумленным, будто коршун выхватил у него абурагэ». Совершенно невозможно предугадать, что коршун может счесть достойным похищения. Например, девочка-служанка моего соседа пошла на днях на реку, вплетя в волосы нитку мелких алых бусинок, сделанных из рисовых зерен, сваренных и окрашенных особым оригинальным способом. Коршун спустился ей на голову, вырвал и проглотил эту нитку бус. Чрезвычайно интересно кормить этих птиц мертвыми крысами или мышами, пойманными за ночь в расставленные ловушки, а после утопленными. Как только мертвая крыса оказывается на виду, коршун тотчас же камнем падает на нее с небес, чтобы унести прочь. Иногда какой-нибудь вороне удастся опередить коршу-

на, но, чтобы сохранить свою добычу, эта ворона должна быть крайне проворной и успеть вовремя укрыться в лесу. Дети распевают такой куплет:

*Тоби, тоби, майтэ мисэ!  
Асита но ба ни  
Карасу ни какуситэ  
Нэдзуми яру.*

Коршун, коршун, покажи, как ты танцуешь,  
И завтра вечером,  
Пока воробы не прознали,  
Я вынесу тебе крысу.

Под танцем подразумевается то, как коршун покачивает крыльями в полете. Это движение поэтично сравнивается с грациозным покачиванием *майко* — танцовщицы, когда она, раскинув руки, подобно парящей птице, плавно помахивает широкими рукавами шелкового кимоно.

В лесу за моим домом имеется многочисленная колония ворон, но генеральный штаб всевороньего войска находится в сосновом бору, на землях старинного замка, который виден из моих передних комнат. Наблюдать, как воробы ежевечерне, в один и тот же час, все дружно летят домой — весьма занятное зрелище, и народное воображение нашло ему забавное сравнение с суматохой, царящей, когда народ бежит на пожар. Им объясняется смысл песенки, которую дети поют воронам, возвращающимся в свои гнезда:

*Ато но карасу саки инэ,  
Варэ га иэ га якэру кэн,  
Хаё индэ мидзу какэ,  
Мидзу га накя яродзо,  
Аматтара ко ни ярэ,  
Ко га накя модосэ.*

Отставшая ворона, поспешай поскорей,  
Не то я приду поджигать твой дом.  
Поспешай и неси воду тушить его.  
Если нет воды, я тебе дам ее.  
Если же воды слишком много, отдай ее вороненку.  
Если же у тебя нет вороненка, отдай ее мне.

Конфуцианство, как представляется, узрело в вороне добродетель. В японском языке есть поговорка «*карасу ни хампо но ко ари*». Смысл ее сводится к тому, что ворона исполняет свой долг *хампо* перед родителями — дословно: «долг хампо перед родителями существует в вороне». «Хампо», если переводить буквально, означает «вернуть кормление». Говорят, что молодая ворона вознаграждает своих родителей за заботу тем, что, когда входит в силу, кормит их. Другой конфуцианский пример почтительности к родителям дает голубь. Существует поговорка «*хато ни санси но рэй ари*», что значит «голубь сидит на три ветки ниже родителей», или дословно: «голубь должен соблюдать этикет трех веток».

Крик дикого голубя *ямабато*, который я слышу из леса почти ежедневно, — это самый сладостно-печальный звук, который когда-либо доходил до моих ушей. Крестьяне Идзумо говорят, что птица произносит слова, приведенные ниже, с чем, по-видимому, трудно не согласиться, когда прислушиваешься к ним, зная, что ей приписывают:

*Тэтэ*  
*поппо,*  
*Кака*  
*поппо,*  
*Тэтэ*  
*поппо,*  
*Кака*  
*поппо,*  
*Тэтэ...*

«Тэтэ» — это «детское» слово, которое означает «папа», «кака» — «мама»; а «поппо» в речи младенцев означает «грудь»\*.

Дикие певчие камышовки — угуису — часто услаждают летние дни своим пением; иногда они оказываются очень близко к дому, привлеченные, очевидно, трелями моего домашнего певца в клетке. Угуису очень распространены в этой провинции. Они обитают во всех лесах и священных рощах в окрест-

---

\* Интересно, что слова «папа» и «мама» существуют в японском языке. «Мама», или с обычным почтительным префиксом «о-мама», означает «вареный рис», а «папа» — «табак».

ностях города, и не было случая, чтобы в своих поездках по Идзумо в теплое время года я не услышал их пения, доносящегося из какого-нибудь тенистого уголка. Угуису сильно разнятся между собой. Есть угуису, которых можно приобрести за пару иен, однако великолепно обученный, выращенный в клетке певец может обойтись не менее чем в сто.

Любопытное поверье об этом изящном создании я услышал не где-нибудь, а в маленьком деревенском храме. Последователи школы нитирэн-сю утверждают, что тельце мертвой угуису не коченеет, так как эта птичка-невеличка привержена их вере и всю свою жизнь распевает хвалу «сутре лотоса высшего закона», — точно так же, говорят они, и их тела после смерти останутся идеально гибкими. Это в некотором смысле важно. Дело в том, что японский гроб совершенно не похож западный гроб. Это удивительно маленький кубовидный ящик, в который покойника помещают в сидячем положении. Как тело любого взрослого человека может быть помещено в такой маленький объем, для иностранцев остается загадкой; при трупном окоченении работа по помещению тела в гроб трудна даже для *досин-бодзу*, профессионалов по части ритуальных услуг.

#### XIV

Мне как-то очень уж полюбилась моя тихая обитель. Ежедневно, вернувшись домой после завершения своих педагогических трудов и сменив учительскую форму на бесконечно более удобные японские одежды, я нахожу более чем достаточное вознаграждение за тяготы пяти учебных часов в простом удовольствии посидеть, подогнув под себя ноги, на тенистой веранде, с которой открывается вид на сады. Старинные стены сада, покрытые мхом под самый свес черепицы, местами обрушившийся, как мне кажется, не пропускают никакого шума городской жизни. Здесь не слышится никаких звуков, кроме птичьих трелей, стрекота сэми и — через долгие ленивые промежутки — одиноких всплесков нырнувшей лягушки. Но эти стены укрывают меня не только от городских улиц, а от чего-то значительно большего. За ними — гул преобразованной Японии — страны телеграфов, заводов, газет, пароходов, а внутри

них царит полное умиротворение природы и витают грезы шестнадцатого столетия. Очарование необычности присутствует в самом воздухе, в котором неуловимо ощущается нечто незримое и сладостное; возможно, это магически-призрачное присутствие давно почивших дам, похожих на тех, что мы видим в старинных книжках с картинками, — они жили, когда всё здесь было еще совсем юным. Даже в летнем свете — играющем на причудливых каменных формах, дрожащем на листве долго и любовно взращиваемых деревьев — присутствует нежность призрачной ласки. Это сады прошлого. Будущему они будут известны только как грезы, творения забытого искусства, очарование которых не будет способен воспроизвести ни один гений.

Жильцов рода человеческого здесь, похоже, не боится ни одно живое существо. Маленькие лягушки, отдыхающие на листьях лотоса, почти никак не реагируют на мое прикосновение; ящерицы загорают на солнце на расстоянии вытянутой руки от меня; водяные змеи бесстрашно скользят через мою тень; целая филармония сэми настраивает свой оглушающий оркестр на ветке сливы над самой моей головой; богомол бесцеремонно устроился прямо у меня на колене. Ласточки и воробьи не только строят свои гнезда на моей крыше, но даже залетают в мои комнаты безо всякой опаски — одна ласточка даже слепила гнездо под потолком ванной комнаты, а ласка таскает рыбу прямо у меня на глазах, без какого-либо зазрения совести. Дикая угуису сидит на ветке кедра возле окна и в порыве вольного вдохновения вызывает моего солиста в клетке на певческое состязание. И всегда сквозь золотистый воздух, из зеленого полусумрака горных сосен, подобно журчанию ручья, доносится до меня печальный, ласковый и очаровательный покрик ямабато:

Тэтэ  
поппо,  
Кака  
поппо,  
Тэтэ  
поппо,  
Кака  
поппо,  
Тэтэ...

Ни у одного европейского голубя нет такого покрика. Тот, кто, впервые услышав голос ямабато, не испытает ранее ему неизвестного сердечного трепета, едва ли заслуживает возможности проживать в этом счастливом мире.

Однако же всё это — старинный каттю-ясики и его сады — несомненно исчезнет навсегда, прежде чем минует не так уж много лет. Уже сейчас многие сады, площадью и красотой превосходящие мой, превращены в рисовые поля или бамбуковые рощи. Притягательный своей старомодностью город Идзумо, когда до него, наконец, дотянется давно задуманная железнодорожная ветка — быть может, даже до конца текущего десятилетия, — разрастется, изменится, станет обычным промышленным городом и востребует эти земли для строительства своих заводов и фабрик. Не только отсюда, но и из всей страны в целом, навсегда, похоже, обречены уйти старинная умиротворенность и старинное очарование. Непостоянство — суть природы вещей, и это особенно заметно в Японии; перемены и их поборники также претерпят изменения, пока для них совершенно не останется места, — и сожалеть о чем-либо будет тщетно. Умирающее искусство, создавшее красоту этого места, — это также искусство той веры, в которой родился всеутешительный текст: «Воистину даже растения и деревья, скалы и камни — все достигнут нирваны».

Из сборника «Из глубин Востока:  
размышления и постижения  
в новой Японии»



Дзюдзюцу

Человек при рождении нежен и слаб, а при наступлении смерти тверд и крепок. Все существа и растения при своем рождении нежные и слабые, а при гибели сухие и гнилые. Твердое и крепкое — это то, что погибает, а нежное и слабое — это то, что начинает жить. Поэтому могущественное войско не побеждает и крепкое дерево гибнет. Сильное и могущественное не имеет того преимущества, какое имеет нежное и слабое.

*«Дао дэ цзин»<sup>54</sup>*

|

**Н**а территории колледжа есть одно здание, по своей архитектуре совершенно отличное от всех других строений. За исключением лишь того, что у него стеклянные раздвижные окна вместо бумажных, его можно назвать чисто японской постройкой. Оно длинное, широкое и одноэтажное, и в нем всего лишь одно огромное помещение, приподнятый пол которого сплошь



услан циновками, уложенными в несколько слоев. У него есть японское название — Дзуйхо-кан, что значит «Зал нашей священной страны»; китайские иероглифы, составляющие это название, были начертаны рукой принца императорской крови на небольшой табличке над его входом. Внутри него нет никакой обстановки — ничего, кроме еще одной таблички и двух висящих на стене картин. На одной из картин изображен знаменитый «Отряд “белых тигров”» из семнадцати отважных юношей, которые во время гражданской войны по собственной воле искали смерти во имя преданности своему даймё\*. Другая — это портрет маслом всеми любимого профессора китайского языка Акицуки из клана Айдзу, прославленного воина в молодости, когда для того, чтобы быть воином и джентльменом, требовалось намного больше, чем в наше время. На табличке рукой графа Кацу начертаны китайские иероглифы, которые означают: «Глубокие знания — это лучшее, чем можно обладать».

Но какие же знания преподают в этом огромном зале, лишенном всякой обстановки. Это нечто, называемое *дзюдзюцу*. А что же такое *дзюдзюцу*?

Здесь я должен предупредить, что практически ничего не знаю о *дзюдзюцу*. Начинать занятия необходимо в ранней молодости и требуется продолжать такое учение очень долгое время, чтобы освоить это искусство сколько-либо хорошо. Чтобы стать мастером, понадобится семь лет постоянных тренировок, даже при условии обладания незаурядными врожденными способностями. Я не могу предложить здесь сколько-либо исчерпывающее описание и лишь попытаюсь изложить в общих чертах основные принципы *дзюдзюцу*.

*Дзюдзюцу* — это древнее самурайское искусство рукопашного боя без оружия. Для непосвященного оно выглядит как борьба. Случись вам войти в Дзуйхо-кан во время занятий *дзюдзюцу*, вы увидите толпу студентов, наблюдающих, как

---

\* В 1868 году в Айдзу, во время гражданской войны, в результате которой был свергнут режим сёгунов Токугава и установлено правление императора Мэйдзи, группа юных самураев, известных под именем *Бяккотай* («Белые тигры»), защищала свой замок против превосходящих сил. В конце концов шестнадцать из них, в возрасте от пятнадцати до семнадцати лет, бросились на свои мечи, только чтобы не сдать врагу.

десяток или дюжина их гибких молодых товарищей, голоногих и голоруких, бросают друг друга на устилающие пол циновки. Царящая при этом мертвая тишина может вас удивить. Не произносится ни одного слова, не выказывается ни единого знака одобрения или удивления, нет даже ни одной улыбки ни на одном лице. Абсолютная невозмутимость строго предписывается правилами школы дзюдзюцу. Возможно, именно эта всеобщая невозмутимость и это образцовое молчание произведут на вас главное впечатление.

Но профессиональный борец увидит значительно больше. Он увидит, что эти молодые люди проявляют большую осторожность в применении своей силы и что все эти захваты, удержания и броски одновременно и необычны, и опасны. При этом он посчитает, что, несмотря на всю осторожность, это показательное выступление — довольно рискованная игра.

Однако искусство это в своем истинном виде — не занятия в зале — намного более опасно, чем даже можно предположить на первый взгляд. Его преподаватель, каким бы худощавым легковесом он ни выглядел, способен, наверное, обездвигать обычного борца за каких-нибудь пару минут. Дзюдзюцу существует не для того, чтобы его показывать, и в зале ему обучаются вовсе не для того, чтобы демонстрировать приемы широкой публике; это искусство самозащиты в самом полном смысле этого слова — это искусство войны. Мастер дзюдзюцу способен в мгновение ока полностью вывести из строя своего противника. Каким-то ужасным неуловимым мановением рук он может внезапно вывихнуть ему плечо, выбить сустав, разорвать сухожилие или сломать кость, и всё это — без какого-либо видимого усилия. Он многим более чем атлет — он также анатом. Ему известны прикосновения, которые убивают — подобно удару молнии. Но это смертоносное знание он поклялся никогда не разглашать, кроме как при условиях, когда злоупотребление им будет почти невозможно. Традиция велит, что передать его можно только людям, обладающим абсолютным самоконтролем и нравственно безупречным характером.

Я хочу привлечь внимание к тому обстоятельству, что мастер дзюдзюцу никогда не полагается на собственную силу. Ее он применяет крайне ограниченно, даже в самой экстремальной ситуации. Что же он применяет? Всего лишь силу своего

противника. Сила врага является единственным средством, благодаря которому этот враг бывает повержен. Искусство дзюдзюцу учит вас полагаться для победы единственно на силу вашего соперника, и чем он сильнее, тем хуже для него и тем лучше для вас. Я помню, что был немало удивлен, когда один из величайших учителей дзюдзюцу\* сказал мне, что для него оказалось крайне сложным обучать одного очень сильного ученика, которого я наивно посчитал самым лучшим в классе. На мой недоуменный вопрос: «Почему?», я получил ответ: «Потому что он полагается на свою огромную физическую силу и применяет ее». Само название «дзюдзюцу» означает «искусство побеждать поддаваясь»<sup>55</sup>.

Боюсь, что я совершенно не способен объяснить это; я могу лишь провести аналогию. Всем известно, что означает «встречный удар» в боксе. Это не будет точным сравнением, поскольку боксер, который проводит встречный удар, использует всю свою силу для противодействия натиску противника, тогда как мастер дзюдзюцу делает совершенно противоположное. Тем не менее здесь усматривается подобие — в обоих случаях страдает тот, кто нападает. Я осмелюсь сказать — весьма условно, конечно, — что в дзюдзюцу существует своего рода «встречный» для любого захвата, выкручивания, рывка, толчка или перегибания. Мастер дзюдзюцу вовсе не сопротивляется таким движениям, нет — он поддается им. Но не просто поддается. Он помогает им с таким коварным умыслом, чтобы нападающий вывихнул собственное плечо, сломал собственную руку или — в самой безвыходной ситуации — даже свернул себе шею или переломил позвоночник.

## II

Хотя мое объяснение и несколько туманно, вы все-таки, наверное, уже поняли, что самой удивительной стороной дзю-

---

\* Кано Дзигоро (Кано Дзигоро (1860—1938) — мастер боевых искусств, основоположник дзюдо. В 1891—1892 годах был директором Государственного колледжа Кумамото (ныне Университет Кумамото), когда там преподавал Л. Хирн. — *Прим. перев.*). Несколько лет тому назад мистер Кано написал для сборника «Труды Азиатского общества» очень интересную статью по истории дзюдзюцу.

дзюцу является не высочайшее мастерство самого лучшего его учителя, а неповторимая восточная идея, которая выражена всем этим искусством. Какой западный мозг мог бы разработать столь необычное учение — никогда не противодействовать силе силой, а лишь направлять и использовать мощь нападающего и повергнуть врага исключительно его собственной силой, одержав победу единственно за счет его собственных усилий? Несомненно — никакой! Западная мысль проявляется в движении вдоль прямых линий, восточная описывает удивительные кривые и порой кружит. В дзюдзюцу заключается нечто многим большее, чем наука обороны, — это философская система, это экономическая система, это этическая система (я забыл сказать, что в значительной мере обучение дзюдзюцу — чисто нравственное). Но прежде всего — это выражение национального гения, до сих пор лишь смутно понятого теми великими державами, что мечтают о дальнейшем своем проникновении на Восток.

Двадцать пять лет тому назад — и даже многим позже — чужеземцы могли пророчествовать, казалось бы, с полным основанием, что Япония примет не только одежды, но и манеры Запада; не только наши средства транспорта и связи, но также и наши принципы архитектуры; не только нашу промышленность и нашу прикладную науку, но точно так же и нашу метафизику, и наши догматы. Некоторые даже уверовали в то, что страна скоро полностью откроется для чужеземных поселений и японская нация в скором времени объявит, через императорский эдикт, о своем обращении в христианство. Но в основе подобной убежденности лежало абсолютное и, пожалуй, неизбежное незнание характера этой нации, ее глубинных способностей, ее дальновидности, ее древнего духа независимости. Что Япония может всего лишь использовать приемы дзюдзюцу, никто не предполагал ни на одно мгновение; более того, в то время никто никогда на Западе и слыхом не слыхивал о дзюдзюцу.

И тем не менее дзюдзюцу показало себя во всей красе. Япония приняла военную систему, основанную на самом выдающемся опыте Франции и Германии, в результате чего она способна призвать под ружье двухсотпятидесятитысячное дисциплинированное войско с внушительной артиллерийской поддержкой. На основе лучших английских и французских

военных доктрин она создала сильный военно-морской флот, в составе которого имеются самые лучшие крейсера мира. Она соорудила себе судоверфи под руководством Франции, построила или закупила пароходы, чтобы возить свои товары в Корею, Китай, Манилу, Мексику, Индию и тропические страны. Она проложила как для военных, так и коммерческих целей почти две тысячи миль железных дорог. С помощью Америки и Англии она создала самую дешевую и, возможно, самую эффективную почтово-телеграфную службу из всех ныне существующих. Она построила маяки с таким великолепным результатом, что ее побережье считается оснаренным едва ли не лучше всех, и ввела в действие службу связи, не уступающую такой службе Соединенных Штатов. Из Америки она получила также телефонную систему и лучшие средства электрического освещения. Она смоделировала свою систему государственных школ на основе тщательного анализа наилучших результатов, достигнутых в Германии, Франции и Америке, но отрегулировала ее в полном соответствии со своими собственными традициями. Она учредила полицейскую систему по французскому образцу, но придала ей форму, полностью отвечающую ее собственным требованиям. Вначале она импортировала механическое оборудование для своих шахт, фабрик, оружейных заводов и железных дорог и нанимала большое число иностранных специалистов; сейчас она всех их увольняет, поскольку начинает хватать своих специалистов. Для одного только перечисления того, что она совершила и продолжает совершать, потребовалось бы много томов. Я скажу лишь, что она выбрала и усвоила всё самое лучшее из достигнутого нашей промышленностью, нашими прикладными науками, нашим экономическим, финансовым и юридическим опытом; причем в каждом случае использовалось лишь то, что дает наивысшие результаты, и все это неизменно приспособлялось к собственным потребностям.

Следует сказать, что Япония ничего не взяла из чистого подражательства. Она приняла на вооружение только то, что способно было принести ей пользу. При этом благодаря мудрейшему законодательству она весьма бережно распоряжалась собственным прошлым. Она не приняла западный образ жизни, западную архитектуру и западную религию, поскольку

принятие чего-либо из этого, особенно религии, послужило бы уменьшению, а не приращению ее силы. Несмотря на ее железные дороги и пароходные линии, телеграфы и телефоны, почтовую службу и транспортные компании, пушки и винтовки, университеты и технические училища, Япония остается такой же восточной страной сегодня, какой она была тысячу лет назад. Она оказалась способна остаться самой собой, до последнего возможного предела используя к собственной выгоде силу своего соперника. Она защищалась и по-прежнему защищается посредством самой восхитительной системы интеллектуальной самозащиты, которая когда-либо была известна, — своим чудесным национальным искусством дзюдзюцу.

### III

Передо мной лежит альбом более чем тридцатилетней давности. Он заполнен фотографиями, сделанными в то время, когда Япония еще только приступала к своим экспериментам с иноземной одеждой и иноземными институтами. Это фотографии даймё и самураев; многие из них имеют историческую ценность, поскольку отражают самые ранние результаты чужеземного влияния на туземные моды.

Естественно, что военное сословие стало первым, попавшим под новое поветрие; по всей видимости, оно пошло на несколько курьезных компромиссов между западным и восточным стилем одежды. Более чем на дюжине фотографий запечатлены феодальные вожди в окружении своих вассалов — все в особенном, по их собственному выбору, одеянии смешанного стиля. На них сюртуки, жилеты и брюки заграничного покроя из импортного материала, но под сюртуком по-прежнему носится длинный шелковый пояс оби — по той простой причине, что он необходим для ношения мечей. Самураи никогда не были *traîneurs de sabre*<sup>56</sup> в буквальном смысле; их грозное, изящно отделанное оружие никогда не предназначалось для ношения на перевязи сбоку — в большинстве случаев, кроме того, будучи слишком длинным для ношения на западный манер.

Материя костюмов — это тонкое черное сукно. Но самурай ни за что не откажется носить свой *мон* — фамильный герб,

и люди на фотографиях всеми возможными способами стараются приспособить его к новому одеянию. Один отделал лацканы сюртука белым шелком, и его фамильная эмблема либо нарисована, либо вышита на шелке шесть раз — по три эмблемы на каждом лацкане. Все они, или почти все, носят европейские часы на броских цепочках; один с интересом рассматривает свой карманный хронометр, быть может, приобретенный накануне. На всех также западная обувь — ботинки без шнуровки. Но, по-видимому, ни один еще не принял отвратительную европейскую шляпу, которой, к сожалению, будет суждено завоевать в Японии популярность, но несколько позднее. Им по-прежнему мила *дзингаса* — деревянный головной убор алого или золотого цвета с лаковым покрытием. Дзингаса и шелковый пояс — единственные естественные элементы их поразительной униформы. Брюки и сюртуки плохо подогнаны; ботинки подвергают их медленной пытке — у всех без исключения, облаченных в такое одеяние, неописуемо сконфуженный, неряшливый и убогий вид. Они не просто перестали чувствовать себя свободно — они осознают, что выглядят не самым выгодным образом. Эти несоответствия недостаточно гротескны, чтобы забавлять; они всего лишь уродливы и тягостны. Какой чужестранец в то время мог бы убедить себя в том, что японцы не стоят на грани утраты навсегда своего превосходного вкуса в одежде?

На других фотографиях видны еще более курьезные результаты чужеземных влияний. Здесь изображены самураи, пошедшие на своеобразный компромисс с западной модой и пошившие свои *хаори*<sup>57</sup> и *хакама*<sup>58</sup> из самого плотного и дорогого английского сукна — материала, совершенно непригодного для такого применения по причине как своей тяжести, так и своей жесткости. На их одежде видны образовавшиеся складки, которые уже никогда не сможет разгладить ни один утюг.

Эстетическое облегчение испытываешь, когда переворачиваешь лист с этими портретами и видишь портреты приверженцев старины, не подвергнувшихся влиянию этой мании и оставшихся верными своему традиционному воинскому облачению. Здесь видишь *нага-бакама*<sup>59</sup>, *дзин-баори* — воинские накидки, украшенные великолепной вышивкой, *ка-*

*мисимо*<sup>60</sup>, кольчуги и полные доспехи. Здесь также различные формы *кабури* — необычные головные уборы, которые прежде носили в торжественных случаях даймё и самураи высокого ранга, похожие на паучью сеть из какого-то легкого черного материала. Во всем этом — достоинство, красота и ужасное изящество войны.

Но всё затмевает последняя фотография этой коллекции, на ней красивый юноша со зловеще-величественным взглядом сокола — Мацудайра-Будзэн-но-Ками в полном великолепии феодального военного облачения. В одной руке он держит украшенный кисточкой жезл полководца; другая покоится на изумительной работы эфесе меча. Его шлем — это ослепительное чудо, стальные латы, закрывающие его грудь и плечи, выкованы оружейниками, чьи имена хорошо известны во всех музеях Запада. Завязки его боевой накидки — цвета золота; изумительное одеяние из плотного шелка, подобное огненной мантии, сплошь расшитое золотыми драконами и бегущими волнами, свободно ниспадает от его закрытой кольчугой талии до самых ступней. И это не сон, — это было! — я разглядываю портрет реального персонажа средневековой жизни! Как великолепен этот человек в своих доспехах, шелках и золотом шитье, он похож на чудесного радужного жука — жука войны, который, несмотря на ослепительные переливы цвета, весь воплощенная угроза!

#### IV

От княжеского великолепия феодального наряда, какой носил Мацудайра-Будзэн-но-Ками, до непрезентабельных одежд переходного периода — сколь низко падение! Несомненно, местная одежда и местные вкусы в одежде вполне могли показаться обреченными навсегда кануть в небытие. Когда даже императорский двор на какое-то время последовал парижским модам, мало кто из чужестранцев сомневался, что вся нация скоро сменит свой гардероб. И действительно, тогда в главных городах началась погоня за западными модами, что создало на время впечатление, что Япония стала превращаться в страну твидовых костюмов, цилиндров и фраков. Но сегодня в японской столице среди тысячи прохожих вы едва ли увидите



одного в западном наряде, за исключением, разумеется, солдат, студентов и полицейских в форменных одеждах. Склонность одеваться по-западному в действительности была национальным экспериментом, и результаты этого эксперимента не совпали с ожиданиями Запада. Япония приняла для своих армии, военно-морского флота и полиции различные стили западной форменной одежды\*, произведя некоторые переделки, просто лишь потому, что такая одежда лучше всего подходит для подобного рода занятий. Иноземный штатский костюм также был принят японским чиновным миром, но только лишь для ношения в служебное время в зданиях западной архитектуры, меблированных современными письменными столами и стульями\*\*. В домашней обстановке даже генерал, судья и инспектор полиции переоблачаются в национальную одежду. И наконец, как учителям, так и учащимся во всех школах, кроме начальных, предписано носить форменную одежду, поскольку в Японии школьное образование — отчасти и военное. Это требование, когда-то весьма строгое, было, однако, значительно ослаблено; во многих школах ношение форменной одежды сейчас обязательно только во время занятий по военной подготовке и в некоторых торжественных случаях. Во всех учебных заведениях Кюсю, за исключением педагогического училища, учащимся разрешается носить одежду, какая им по вкусу, соломенные сандалии и огромные соломенные шляпы, если они не идут на парад. Но неизменно дома после занятий, как

---

\* Что представляется единственной серьезной ошибкой, совершенной Японией в этом отношении, так это принятие кожаных ботинок для своей пехоты. Изящные ступни молодых людей, привыкшие к свободе сандалий и незнакомые с существованием мозолей, испытывают жестокие пытки от этой неестественной обуви. Правда, при совершении длинных маршей им разрешается носить сандалии. В сандалиях даже японский мальчик может легко пройти свои тридцать миль в день, почти не испытав усталости.

\*\* Один высокообразованный японец сказал одному из моих друзей буквально следующее: «По правде говоря, нам не нравится западная одежда. Мы временно приняли ее, как некоторые виды животных принимают определенную окраску в определенное время года — в целях маскировки».

учителя, так и учащиеся переоблачаются в кимоно с поясом из белого крепового шелка.

Коротко говоря, Япония благополучно вернулась к своей национальной одежде, и следует надеяться, что больше никогда от нее не откажется. Это не только единственное облачение, идеально приспособленное к ее традиционному образу жизни; возможно, оно также самое представительное, самое удобное и самое здоровое в мире. Впрочем, в некотором отношении в эпоху Мэйдзи японская мода претерпела изменения намного более значительные, чем за все предыдущие эпохи; причиной этому в большой мере послужило упразднение воинского сословия. В отношении форм изменения были незначительные; в отношении цветовой гаммы — весьма велики. Прекрасный вкус нации по-прежнему проявляется в прекрасных оттенках, расцветках и рисунках тех шелковых или хлопковых тканей, что ткутся для пошива одежды. Но оттенки стали бледнее, а краски темнее, чем те, что знало предыдущее поколение; весь национальный костюм во всех его разновидностях, не исключая даже ярких одежд детей и совсем юных девушек, стал намного более спокойных тонов, чем в феодальные времена. Восхитительные старинные одеяния ослепительных расцветок полностью исчезли из общественной жизни, и сейчас вы можете увидеть их только в театрах или в книгах, на тех изумительных иллюстрациях, где изображены прекрасные сцены прошлого.

## У

И в самом деле, отказ от традиционной одежды повлек бы за собой дорогостоящую необходимость изменения почти всего образа жизни. Западный костюм совершенно не подходит для японской глубинки; для того, кто его носит, обычная для японца поза — сидеть, подогнув под себя ноги, или на коленях — стала бы чрезвычайно мучительной или, во всяком случае, создала бы неудобства. Принятие западной одежды, таким образом, повлекло бы за собой необходимость принятия западного образа жизни в повседневном быту: в доме потребовались бы стулья для сидения, столы для приема пищи, печи или камины для обогрева (поскольку способность японской одежды сохранять тепло делает эти западные удобства ненуж-

ными), ковры для полов, стекла для окон, короче говоря — массу излишеств, без которых этот народ всегда прекрасно обходился. В японском доме нет мебели (в европейском смысле этого слова) — ни кроватей, ни столов, ни стульев. В нем может быть маленький книжный шкаф или, вернее, «книжный ящик», а также почти всегда имеется пара комодов в какой-нибудь нише, спрятанной за раздвижными бумажными ширмами, но эти предметы обстановки значительно отличаются от любой западной мебели. Как правило, в японской комнате вы не увидите ничего, кроме маленькой жаровни из бронзы или фарфора для курительных целей и циновки или подушки, в зависимости от времени года, для сидения на коленях. На протяжении тысячелетий японская жизнь протекала на полу. Мягкий, как шерстяной матрас, и всегда безукоризненно чистый, пол служит одновременно диваном, обеденным столом и очень часто — столом письменным, хотя имеются также маленькие изящные письменные столики, высотой примерно в один фут. Обширная экономия от таких жизненных привычек делает крайне маловероятной возможность когда-либо отказа от них. Следует также помнить, что не существует ни одного прецедента, когда бы высоко цивилизованный народ — каким и были японцы до начала нашествия на них Запада — отказался от обычаев предков исключительно из духа подражательства. Те, кому японцы кажутся подражателями, представляют их себе дикарями. Но на самом деле они вовсе не подражатели: они лишь хорошо всё усваивающий и восприимчивый народ, и это доходит у них до степени гениальности.

Вполне возможно, что внимательное изучение западного опыта применения огнестойких строительных материалов приведет со временем к определенным изменениям в японской городской архитектуре. Уже сейчас в некоторых кварталах Токио имеются улицы, застроенные кирпичными домами. Но эти кирпичные жилища устланы циновками на старинный манер, и их обитатели следуют жизненному укладу своих предков. Будущая кирпично-каменная архитектура едва ли окажется всего лишь копированием западных построек; она, почти определенно, разработает новые и чисто восточные конструктивные особенности, представляющие необыкновенный интерес.

Те, кто уверовал в то, что японцы сплошь подвержены слепому восхищению всем западным, могут, разумеется, ожидать, что в открытых портах встретят чего-либо японского меньше (за исключением древностей), чем в японской глубинке: меньше японской архитектуры, меньше национальной одежды, национальных манер и обычаев, меньше японской религии, святилищ и храмов. Но в действительности всё обстоит как раз наоборот. Здания чужеземной архитектуры там имеются, но, как общее правило, только на территории иностранных концессий. Обычными исключениями являются огнестойкое здание почты, таможня и, возможно, несколько пивоварен и бумагопрядильных фабрик. Японская архитектура не только прекрасно представлена во всех иностранных портах — там она представлена намного лучше, чем почти в любом городе внутренних районов. Здания увеличиваются по высоте, длине и ширине, но при этом остаются даже более восточными, чем где-либо еще. В Кобэ, Нагасаки, Осаке и Иокогаме всё японское, как бы в пику чужеземному влиянию, специально подчеркивается. Всякий, кому довелось смотреть на Кобэ с крыши или балкона высокого здания, видел, возможно, то, что я имею в виду, — масштаб, необычность, очарование японского порта девятнадцатого столетия и серо-голубое море черепичных склонов с архитектурными причудами, которые не поддаются описанию. Нигде религиозные праздники не проходят так ярко, как в священном для японцев городе Киото; вряд ли вы найдете что-то подобное в японской глубинке, за исключением Никко и древних столиц Нара и Сайкё. Нет, чем больше познаёшь особенности открытых портов, тем глубже чувствуешь, что гений нации никогда добровольно не уступит западному влиянию хоть сколько-либо сверх того, что предусмотрено правилами дзюдзюцу.

## VI

Предположение, что Япония в скором времени объявит миру о своем принятии христианства, не выглядело в недавнем прошлом столь же необоснованно, как некоторые иные ожидания. Тем не менее в наши дни оно представляется совершенно беспочвенным; по правде сказать, не существовало прецедентов,

на которых можно было бы основывать столь великие упования. Ни одна восточная нация никогда не была обращена в христианство. Даже изумляющие своим размахом усилия христианской пропаганды в Индии при британском правлении не смогли ничего изменить. В Китае после нескольких столетий деятельности миссионеров ненавистно само имя христианства — и небеспричинно, ибо немалое число агрессий против Китая происходило под прикрытием этой религии. В наших ближних пределах мы добились еще меньших успехов в своих усилиях обратить восточные народы в свою веру. Нет и тени надежды обратить в нее турок, арабов, мавров или любой народ, исповедующий ислам, а приснопамятное «Общество обращения евреев» способно вызвать лишь усмешку. Но даже оставляя восточные народы в стороне, мы не можем похвастать никакими обращениями. Никогда на протяжении новой истории христианский мир не был способен принудить к принятию своих догматов какой-либо народ, способный сохранять хоть какую-то надежду на национальное существование. Ничтожный\* успех миссионеров у нескольких первобытных племен

---

\* Ничтожный в силу того простого факта, что истинная цель миссионеров попросту недостижима. Весь этот вопрос был весьма убедительно резюмирован в нескольких строчках Герберта Спенсера: «Повсюду, несомненно, особые теологические предубеждения, сопровождающие специальный набор доктрин, неизбежно ведут к необоснованным суждениям по многим социальным вопросам. Тот, кто считает какую-то веру абсолютно истинной и кто, исходя из этого, полагает многообразные иные вероисповедания абсолютно ложными постольку, поскольку они отличаются от его собственного, не может рассматривать допущение, что ценность веры относительна. То, что каждая религиозная система является, по своей общей природе, органической частью общества, в котором она обнаруживается, — концепция для него совершенно чуждая и, кроме того, противоречащая его убеждениям. Свою систему догматической теологии он считает верной для любых мест и любых времен. Он совершенно не сомневается в том, что, будучи посеяна среди орды дикарей, она будет правильно ими понята, по достоинству ими оценена и результаты ее воздействия на них будут такими же, какие он испытал на себе. Таким образом вдохновленный, он игнорирует все свидетельства того, что какой-либо народ способен получить более высокую форму религии не более, чем он способен получить более высокую форму правления, и что неизбежно вместе

или исчезающего народа маори лишь подтверждает это правило, и если только мы не согласимся с мнением Наполеона, что миссионеры могут принести огромную пользу в политике, нам нелегко будет избежать вывода, что вся деятельность иностранных миссионерских обществ была поставлена на широкую ногу тратой энергии, времени и денег без какой-либо реальной конечной цели.

В последнее десятилетие девятнадцатого столетия, как бы то ни было, причина этого не должна вызывать сомнений. Религия подразумевает нечто намного большее, чем догма о сверхъестественном; это синтез всего этического опыта нации и во многих случаях самая ранняя основа ее самых мудрых законов, а также результат ее социальной эволюции. Таким образом, религия — это органическая часть жизни нации, и она не может быть замещена сколько-либо естественным образом этическим и социальным опытом чужого народа — то есть совершенно чужой религией. И ни одна нация в добром общественном здравии не сможет добровольно отказаться от веры, столь глубоко проникшей в ее нравственную жизнь. Нация может изменить свои догматы, она может по доброй воле принять иную веру, но она никогда добровольно не откажется от своих прежних верований, даже когда они утратили всю свою нравственную или общественную пользу. Когда Китай принял буддизм, он не отказался ни от нравственных законов своих древних мудрецов, ни от своего первобытного культа поклонения предкам; то же самое мы можем сказать и о Японии. Подобными же примерами изобилует история религий античной Европы.

Только наиболее терпимые из религий могут быть добровольно приняты нациями, совершенно чуждыми тем, кто эти религии создал; и даже тогда — лишь в дополнение к той религии, которой они уже обладают, но никогда в качестве замены ей. Этим и объясняется грандиозный успех древних буддист-

---

с такой религией, как и с таким правлением, последует деградация, которая за короткое время низведет ее до такой формы, что она лишь номинально будет отличаться от своей предшественницы. Другими словами, его особые теологические пристрастия делают его слепым к важному классу социологических истин».

ских миссионеров. Буддизм был поглощающей, но никогда не был замещающей силой — он включал чужие верования в свою колоссальную систему и давал им новое истолкование. Но такие религии, как ислам и западное христианство, всегда были религиями в высшей степени нетерпимыми, ничего в себя не вбиравшими и ревностно стремящимися полностью заменить собой всё и вся. Поэтому, чтобы внедрить христианство в какой-либо стране Востока, требуется разрушить не только местную веру, но также и местную общественную систему. А как показывают уроки истории, такого рода полное уничтожение осуществимо лишь силой, а в случае высокоорганизованного общества — только посредством самой грубой силы. И сила, бывшая главным инструментом христианской пропаганды в прошлом, по-прежнему стоит за спиной наших миссионеров. Только мы заменили — или делаем вид, что заменили, — разящую силу меча на власть денег и угрозы, которые время от времени приводим в исполнение — во имя коммерческих интересов и в подтверждение наших христианских обетов. Мы силой навязываем миссионеров Китаю, например, согласно условиям конвенции, к подписанию которой принудили его войной, обязуемся поддерживать их канонерками<sup>61</sup> и выбиваем огромные компенсации за жизни тех, кто поплатился ими за свое чрезмерное рвение. Таким образом, Китай регулярно выплачивает деньги «за кровь», и с каждым годом всё лучше понимает всю ценность того, что мы называем христианством.

Несмотря на все вышеизложенное, одно время имелось достаточное основание для надежды на формальное обращение Японии в христианство. С тех пор как японское правительство, в силу политической необходимости, полностью уничтожило иезуитские миссии шестнадцатого и семнадцатого столетий и само слово «христианин» стало в Японии объектом ненависти и презрения\*, ситуация в стране сильно изменилась, как

---

\* Миссионерская деятельность в Японии была начата св. Франциском Ксаверием, который высадился в Кагосиме на Кюсю 15 августа 1549 года. Курьезным фактом является то, что слово *батэрэн*, которое является искажением португальского или испанского *padre* и в таком виде вошло в японский язык два века тому назад, по-прежнему сохраняется среди простого народа в некоторых провинциях как синоним

изменилось само христианство. Более тридцати различных христианских конфессий были готовы в девятнадцатом веке оспаривать честь обращения Японии в свою веру. Из столь широкого ассортимента Япония, несомненно, могла бы выбрать форму христианства по своему собственному вкусу. Условия в стране были более благоприятными, чем когда-либо ранее, для внедрения какой-нибудь западной религии. Вся ее социальная система была дезорганизована, буддизм был отделен от государства и шатался от такого удара, синто казался неспособным к сопротивлению, великое воинское сословие было упразднено; система правления была изменена, провинции были истрепаны войной, микадо, столетиями скрытый от взоров<sup>62</sup>, показал себя своему изумленному народу. Бурный поток новых идей грозил уничтожить все обычаи и разрушить все верования, и в это время проповедь христианства вновь была разрешена законодательно.

---

понятия «злой волшебник». Еще одним любопытным фактом, заслуживающим упоминания, является то, что особый вид бамбуковой ширмы, из-за которой человек может наблюдать всё происходящее вне дома, не будучи сам видимым, по-прежнему называется *кириситан* — христианин.

Внушительный успех иезуитских миссионеров объясняют сходством некоторых внешних форм католицизма и буддизма. Это близкое к истине наблюдение было подтверждено исследованиями Э.М. Сатоу, который опубликовал факсимиле некоторых документов, подтверждающих, что милость князя Ямагути иностранным миссионерам была оказана, с тем чтобы они могли «проповедовать закон Будды» — новая религия была первоначально ошибочно принята за более высокую форму буддизма. Но тот, кто читал письма иезуитов из Японии, должен признать, что успех миссионеров невозможно полностью объяснить только этим. Здесь мы имеем психологический феномен весьма необычного свойства — феномен, который, возможно, никогда более не повторится в истории религии. Иезуиты прошлого понимали глубоко эмоциональный характер японцев значительно лучше, чем любые современные миссионерские общества, они изучили, с удивительной проницательностью, все пружины национальной жизни и знали, как ими управлять. Там, где они потерпели неудачу, наши современные пропагандисты Евангелия не могут даже надеяться добиться какого-либо успеха. Тем не менее даже в период наибольшего процветания иезуитских миссий было заявлено только о шестистах тысячах обращенных.



Более того, в час непомерных усилий по перестройке общества правительство основательно проработало вопрос христианизации — столь же тщательно и непредвзято, как оно изучило иностранные системы образования, устройство иностранных армий и военно-морских сил. Была создана комиссия, в обязанность которой вменялось подготовить отчет о роли христианства в сдерживании преступности и пороков за рубежом. Результат ее работы подтвердил беспристрастный вердикт, вынесенный в семнадцатом веке Энгельбертом Кемпфером в отношении нравственности японцев: «Они выказывают великое уважение и почитание своих богов и поклоняются им различным образом. Полагаю, что могу уверенно утверждать: в исполнении добродетели, по непорочности жизни и внешней набожности они намного превосходят христиан». Говоря коротко, было сделано мудрое заключение, что иноземная религия, помимо ее непригодности для условий восточного общества, показала себя менее эффективной на Западе по сравнению со свершениями буддизма на Востоке. Нет никаких сомнений в том, что патриархальное общество, основанное на принципе взаимных обязанностей, мало чего могло бы приобрести, но много чего потеряло бы, приняв христианское учение.

Надежда сделать Японию христианской страной одним махом — императорским эдиктом — рассеялась как дым, и с преобразованием общества шансы каким-либо образом сделать христианство государственной религией Японии стремительно падают. Возможно, что миссионеров будут еще какое-то время терпеть, несмотря на их вмешательство в дела, совершенно их не касающиеся, но они не принесут японцам никакой нравственной пользы и лишь будут в это время использоваться теми, кого они сами хотят использовать. В 1894 году в Японии насчитывалось восемьсот протестантских, девяносто два римско-католических и три греко-католических миссионера; общие расходы на содержание всех иностранных миссий в Японии должны были составлять немалую сумму. Дабы оправдать эти огромные издержки, протестанты заявляют о пятидесяти тысячах новообращенных; о таком же числе говорят католики; таким образом, остается порядка тридцати девяти миллионов девятисот тысяч необращенных душ.

Правила хорошего тона — и весьма дурного свойства — возбраняют любую недоброжелательную критику миссионерских отчетов, но вопреки им я должен выразить свое откровенное мнение, что даже вышеприведенные цифры не вполне заслуживают доверия. Что касается римско-католических миссий, то они похваляются тем, что со значительно меньшими средствами проделали такую же работу, как и их конкуренты, и что даже их недруги признают определенную основательность этой работы, которая начинается, вполне разумно, с детей. Но довольно сложно не относиться скептически к отчетам миссий, когда известно, что среди низших сословий японцев имеется множество тех, кто готов заявить об обращении ради получения денежного пособия или работы; когда известно, что бедняки делают вид, что стали христианами, ради получения возможности для обучения какому-нибудь иностранному языку; когда вы постоянно слышите о молодых людях, которые, став христианами на какое-то время, затем открыто возвращаются к своим древним богам; когда вы видите, как сразу же после раздачи миссионерами зарубежных пожертвований в помощь пострадавшим от наводнения, голода или землетрясения, появляются победные репортажи о целых толпах новообращенных. Зная все это, приходится сомневаться не только в искренности этих обращенных, но и в нравственности этих методов.

## VII

Идея, что Япония настезь откроет свои внутренние районы иностранным промышленным предприятиям, бродившая в умах вскоре после начала эпохи Мэйдзи, оказалась столь же иллюзорной, как и мечта о ее внезапном обращении в христианство. Страна осталась и до сих пор остается практически закрытой для чужеземной колонизации. Само правительство никогда не проявляло склонности следовать консервативной политике и предприняло различные попытки пересмотреть конвенции таким образом, чтобы превратить Японию в новое обширное поле для вложения западного капитала. Однако национальный политический курс не определяется одной лишь наукой государственного управления, но направляется и про-

кладывается чем-то намного менее подверженным ошибкам, а именно — инстинктом нации.

В то время как некоторые японские политики напряженно работали над устранением любых препятствий к созданию иностранных поселений во внутренних районах страны, другие полагали, что подобные поселения будут означать свежее внедрение в еще неокрепший общественный организм раздражающих элементов, которые неизбежно приведут к негативным последствиям. Первые аргументировали свою позицию тем, что благодаря рекомендуемому ими пересмотру существующих конвенций доходы империи многократно возрастут и что вероятное число иностранных поселенцев будет весьма незначительным. Однако консервативные мыслители полагали, что истинная опасность открытия страны для чужеземцев заключалась вовсе не в опасности их неконтролируемого наплыва, и в этом инстинкт нации был с ними в полном согласии. Хотя он понимал опасность довольно смутно, но его понимание было в согласии с истиной.

Человек Запада сделал для себя открытие, что при любых честных условиях игры он не может конкурировать с человеком Востока в борьбе за существование. При этом произвол в отношении китайских или японских эмигрантов он всегда оправдывал целым сонмом абсурдных «моральных причин». Единственная же истинная причина этого может быть сформулирована в следующих восьми словах: «Человек Востока способен пережить человека Запада, довольствуясь меньшим». Но сейчас в Японии другая сторона этого вопроса была сформулирована таким образом: «Человек Запада способен пережить человека Востока\*, требуя большего, при определенных благоприятных условиях». То есть была обозначена опасность, что рано или поздно западный человек сможет найти способы и средства повелевать туземной нацией, если даже не вытеснить ее полностью — сокрушая со-

---

\* То есть японцев, разумеется. Я не верю, что при любых условиях люди Запада способны пережить китайцев — какова бы ни была численная диспропорция. Даже японцы признают свою неспособность соперничать с китайцами; и один из наиболее веских аргументов против безоговорочного открытия страны — это опасность китайской иммиграции.

противление, парализуя конкуренцию с помощью огромных объединений капитала, монополизировав ресурсы и повышая жизненные стандарты сверх туземных возможностей. Ведь в иных местах различные более слабые нации исчезли или находятся на пути к исчезновению под англо-саксонским господством. И кто мог поручиться в стране, столь бедной, как Япония, что допущение иностранного капитала не создаст угрозу национальной безопасности? Несомненно, Японии никогда не придется опасаться военного завоевания — она выстоит на собственной территории против любой иноземной нации. Но она может с достаточным основанием опасаться, что, преждевременно открыв свои внутренние районы для иноземных поселений, обречет себя на участь Гавайев — что ее земля перейдет в чужую собственность, что ее политика будет определяться иностранным влиянием, что ее независимость станет чисто номинальной, что ее древняя империя со временем превратится в некоего рода космополитическую промышленную республику.

Тем не менее пересмотр конвенций без открытия страны казался невозможным. Было очевидным, что постоянное давление на Японию западных держав будет сохраняться. Новая конвенция с Англией, разработанная практичным Аоки<sup>63</sup>, столкнулась с дилеммой. Согласно условиям этой конвенции, страна открывается, но британские подданные не могут владеть землей, а лишь распоряжаются ею на основе договоров аренды, прекращающихся, согласно японскому законодательству, в силу самого факта со смертью арендодателя. Им не разрешена каботажная торговля — даже ни с одним из старых договорных портов, а вся остальная торговля облагается тяжелыми пошлинами. Старые концессии возвращаются Японии, и британские поселенцы переходят под японскую юрисдикцию.

По этой конвенции Англия фактически потеряла всё, а Япония всё получила. Первая публикация ее статей ошеломила английских коммерсантов, которые объявили, что преданы своей родине — юридически связаны по рукам и ногам и отданы в восточное рабство. Некоторые объявили о своей решимости покинуть страну, до того как конвенция вступит в силу. Что же касается Японии, то она может поздравить себя

с дипломатической победой. Страна действительно должна быть открыта, но условия этой открытости должны быть таковы, чтобы всегда была возможность остановить иностранный капитал. Если подобных условий удастся добиться также от других держав, Япония с избытком вернет себе всё, что она потеряла по предыдущим конвенциям, крайне для нее невыгодным. Документ Аоки, несомненно, представляет собой наивысшее достижение дзюдзюцу в дипломатии.

Но никто не может вполне уверенно предсказать, что произойдет в дальнейшем. По-прежнему остается неясным, сумеет ли Япония добиться всех своих целей приемами дзюдзюцу, пусть даже никогда еще в истории ни одна нация не проявила такого мужества и такого гения, столкнувшись со столь грандиозным вызовом. На памяти людей, еще совсем не старых, Япония развила свою военную мощь настолько, что сейчас стоит на равных с каждой европейской державой; в промышленном отношении она быстро становится конкурентом Европы на рынках Востока; в отношении образования она также вышла на передовые рубежи, создав систему школ более дешевую, но едва ли менее эффективную, чем такая система любой страны Запада. Она достигла всего этого вопреки постоянному ограблению из-за несправедливых договоров, вопреки огромным потерям от наводнений и землетрясений, вопреки внутренним политическим раздорам, вопреки стараниям чужеземных ловцов душ иссушить национальный дух и вопреки чрезвычайной бедности своего народа.

## VIII

Если Япония потерпит неудачу, это, определенно, не будет связано с каким-либо недостатком национального духа. Этим качеством она обладает в степени, которую в современности ни с чем нельзя сравнить, — в степени, которую такое избитое слово, как «патриотизм», совершенно не в состоянии передать. Хотя психолог может потеоретизировать на тему отсутствия или ограниченности собственной личности у японцев, совершенно не подлежит сомнению тот факт, что как нация Япония обладает личностью намного более выраженной, чем наша собственная. И в самом деле, мы вполне можем думать,

что западная цивилизация развила свойства индивидуума до степени разрушения национального чувства.

Свой долг весь этот народ понимает одинаково. Спросите о долге японца любого школьника, и он вам ответит: «Долг каждого японца по отношению к нашему императору в том, чтобы помочь сделать нашу страну сильной и богатой, помочь защитить и сохранить нашу национальную независимость». Каждая государственная школа преподает своим учащимся курс начальной военной подготовки; в каждом городе есть свои школьные батальоны. Даже дети, слишком юные для регулярных учений, ежедневно разучивают хором как старинные, так и современные военные песни. С завидной регулярностью сочиняются новые патриотические песни, которые с одобрения правительства передаются в школы и военные лагеря. Неизгладимое впечатление слышать, как четыреста учащихся школы, в которой я преподаю, поют одну из этих песен. Молодые люди, все в форменной одежде, выстраиваются, согласно воинскому званию. Командир отдает приказание, и все ноги начинают вместе отбивать шаг. После этого запева исполняет один куплет, и все учащиеся повторяют его с поразительным воодушевлением, делая особое ударение на последнем слоге каждой строчки, отчего звуковой эффект подобен ружейному салюту. Это типично восточная и очень впечатляющая манера пения: вы слышите пылкое сердце старой Японии, бьющееся в каждом слове. Но еще более впечатляет такое пение в исполнении солдат. В этот самый момент, когда я пишу эти строки, я слышу, подобно раскатам грома, доносящуюся из старинного замка Кумамото вечернюю песню его гарнизона, которую поют восемь тысяч человек личного состава, и в нее вплетаются протяжные сладкозвучные меланхолические звуки сотни горнов\*.

Правительство не жалеет усилий ради сохранения древнего чувства верности и любви к своей стране. Недавно с этой благородной целью были учреждены несколько новых праздников; а старые отмечаются с нарастающим из года в год энтузиазмом. В день рождения императора во всех государственных учреждениях и школах торжественно приветствуется фотогра-

---

\* Это было написано в 1893 году.

фия Его Императорского Величества, с подобающими случаю песнями и церемониями\*. Бывает, что некоторые учащиеся, по наущению миссионеров, отказываются отдавать эту простую дань преданности и благодарности на том основании, что они «христиане», и по этой причине становятся жертвами гонений со стороны своих товарищей — иногда до такой степени, что пребывание в школе становится для них затруднительным. После этого миссионеры отправляют к себе на родину, в профессиональные газеты, сообщение о гонениях на христиан в Японии, «за отказ поклоняться идолу императора»\*\*! Такие случаи, разумеется, бывают нечасто и лишь служат свидетельством тех методов, какими чужеземные проповедники умудряются погубить истинную цель своей миссии.

Их фанатичные нападки на туземный дух, туземную религию, туземный нравственный кодекс и даже на туземные одеяния и обычаи могут отчасти объяснить недавние демонстрации национального чувства самими японскими христианами. Некоторые из них выразили свое желание избавиться от присутствия чужеземных проповедников и создать новое особенное христианство, которое было бы преимущественно японским и существенным образом национальным по духу. Другие пошли намного дальше, требуя, чтобы все христианские школы при миссиях и церквях, а также иная собственность, ныне оформленная во владение (чтобы соблюсти или обойти закон) на японские имена, была передана японским христианам. Более того, в ряде случаев уже было решено передать школы при миссиях полностью под руководство японцев.

Я уже ранее писал о том восхитительном энтузиазме, с которым вся нация поддержала усилия и цели правительства в области образования\*\*\*. Не меньше рвения и самоотречения было проявлено в оказании содействия правительственным

---

\* Церемония приветствия портрета Его Величества повторяет церемонию при представлении ко двору. Поклон, три шага вперед, глубокий поклон, еще три шага вперед и земной поклон. Покидая присутствие императора, посетитель, идя спиной вперед, вновь трижды кланяется.

\*\* Это подлинная цитата.

\*\*\* См. очерк «Улыбка японцев».

мероприятиям в области самообороны. Поскольку сам император подал пример, передав значительную часть личных доходов на приобретение военных кораблей, никакого ропота не вызвал эдикт, потребовавший на те же самые цели десятую часть жалованья всех государственных служащих. Каждый армейский или флотский офицер, каждый профессор или учитель и почти все работники, находящиеся на государственной службе\*, вносят, таким образом, ежемесячный вклад на пользу военно-морской обороны. Министр, пэр или член парламента имеют в этом случае не больше привилегий, чем самый скромный служащий. Помимо этих взносов, установленных эдиктом сроком на шесть лет, щедрое пожертвования добровольно совершаются по всей империи богатыми землевладельцами, коммерсантами и банкирами. Ведь чтобы спастись, Япония должна быстро нарастить силу: внешнее давление на нее слишком велико, чтобы допускать возможность какого-либо промедления. Ее усилия почти неправдоподобны, но совершенно не исключено, что они будут успешны, хотя трудности на ее пути крайне велики, и она вполне может отступить. Оступится ли она? Предсказать что-либо очень сложно. Но возможная будущая неудача едва ли будет результатом ослабления национального духа. Многим более вероятно, что это произойдет в результате политических ошибок — из-за безрассудной самоуверенности.

## IX

Остается задаться вопросом, какова возможная судьба прежних представлений о нравственности в вихре всех этих заимствований, ассимиляций и противодействий. И я полагаю, что ответ отчасти содержится в следующей беседе, которая была у меня недавно с одним студентом университета.

Она записана по памяти и поэтому не совсем дословно, но представляет интерес, поскольку отражает мысли нового поколения — свидетелей исчезновения богов:

---

\* Почтальоны и простые полицейские были освобождены от этих выплат. Но жалованье полицейского составляет всего лишь порядка шести иен в месяц; жалованье почтальона и того меньше.



— Сэр, каково было ваше мнение о японцах, когда вы впервые прибыли в эту страну? Пожалуйста, будьте со мной вполне откровенны.

— О молодых японцах наших дней?

— Нет.

— Значит, вы имеете в виду тех, кто всё еще следует старинным традициям и придерживается старинных форм этикета — восхитительных стариков, таких как ваш бывший учитель китайского языка, который по-прежнему воплощает старый самурайский дух?

— Да. Господин А\*\*\* идеальный самурай. Я хочу сказать, что он именно такой.

— Я думал о них как о воплощении всего лучшего и благородного. Они казались мне подобием их собственных богов.

— И вы по-прежнему думаете о них так же хорошо?

— Да. И чем больше я наблюдаю японцев нового поколения, тем больше я восхищаюсь людьми старого.

— Мы тоже восхищаемся ими. Но как иностранец, вы также должны были заметить их недостатки.

— Какие недостатки?

— Недостатки в практических знаниях западного типа.

— Судить о людях одной цивилизации на основе стандартных требований другой, совершенно иной по своей организации, было бы несправедливо. Мне кажется, что чем совершеннее человек представляет свою собственную цивилизацию, тем больше мы должны ценить его как гражданина и как джентльмена. И если судить о японцах старого закала, полагаясь на их собственные стандарты, то они представляются мне почти идеальными людьми.

— В каком отношении?

— В отношении доброты, учтивости, героизма, самоконтроля, способности к самопожертвованию, сыновней почтительности, простоты веры и способности довольствоваться малым.

— Но достаточно ли этих качеств, чтобы обеспечить практический успех в новых условиях?

— Не вполне; но некоторые из нихгодились бы.

— Качества, необходимые для практического успеха в западной жизни, это именно те качества, которых не хватает старым японцам, разве не так?

— Думаю, что так.

— Наше старое общество воспитывало доброжелательность, учтивость и щедрость и учило жертвовать собственной личностью. Западное же общество воспитывает индивидуума путем неограниченной конкуренции — конкуренции в умении мыслить и действовать.

— Думаю, что это так.

— Но для того чтобы Япония была способна занять и удержать достойное место среди наций, она должна принять промышленные и торговые методы Запада. Ее будущее зависит от ее промышленного развития, но никакого развития не может быть, если мы продолжим следовать нашим старым нормам нравственности и манерам поведения.

— Почему?

— Неспособность конкурировать с Западом означает гибель. Но чтобы конкурировать с Западом, мы должны взять на вооружение методы Запада, а они во многом противоположны старым нормам нравственности.

— Возможно.

— Не думаю, что в этом можно сомневаться. Чтобы вести бизнес в крупном масштабе, люди не должны сдерживаться мыслью, что не следует искать выгод, которые могут повредить другим людям. Там, где нет никаких ограничений конкуренции, люди, которые основываются на добросердечности, должны потерпеть неудачу. Закон конкуренции заключается в том, что сильный и активный должен победить, а слабый, глупый и безразличный — проиграть. Но наша старая мораль осуждала такую конкуренцию.

— Это так.

— В таком случае, сэр, как бы ни хороша была старая мораль, мы не сможем добиться серьезного промышленного развития и даже сохранить нашу национальную независимость, следуя ей. Мы должны отказаться от нашего прошлого. Мы должны заменить мораль законом.

— Но это нехорошая замена.

— Это было хорошей заменой на Западе, если мы будем судить по материальному величию и мощи Англии. Мы в Японии должны научиться быть нравственными, согласно разуму, вместо того чтобы быть нравственными, согласно чувству.

Знание нравственных соображений закона — само по себе нравственное знание.

— Для вас и тех, кто изучает универсальное право, — это возможно. Но как быть простым людям?

— Они должны следовать старой религии и продолжать верить в своих богов. Но жизнь, возможно, станет для них более сложной. Они были счастливы в старину.

Очерк «Дзюдзюцу» был написан два года назад<sup>64</sup>. Последующие политические события и подписание новых конвенций обязали меня переработать его, но сейчас, когда я держу в руках пробный оттиск, события войны с Китаем<sup>65</sup> вынуждают внести очередные коррективы. Чего никто не мог предсказать в 1893 году, весь мир признает в 1895-м — с удивлением и восхищением. Япония одержала победу в своей дзюдзюцу. Ее самоуправление практически восстановлено, ее место среди цивилизованных наций, по всей видимости, обеспечено — она навсегда вышла из-под опеки Запада. То, что ее умения и достоинства никогда не смогли бы принести Японии, она получила первой же демонстрацией своих новых военных возможностей.

Немало было запальчиво сказано о длительной секретной подготовке к войне, проведенной Японией, и о шаткости ее предлогов для вступления в нее. Я уверен, что цели военных приготовлений никогда не были иными, чем те, которые были указаны в моем очерке. Именно для обретения своей независимости Япония неустанно наращивала военную мощь в течение четверти века. Следующие один за другим импульсы народного противодействия чужеземному влиянию на протяжении всего этого времени — и каждый последующий сильнее предыдущего — послужили предупреждением правительству о нарастающем осознании нацией своей силы и о постоянно растущем раздражении, направленном против навязанных ей конвенций. Разве не очевидно, что именно беспощадное промышленное и политическое давление на Японию объединившегося Запада вынудило ее начать эту войну — как демонстрацию силы в направлении наименьшего сопротивления? Эта демонстрация достигла своей цели — Япония доказала свою способность противостоять остальному миру. У нее нет

желания разрывать свои промышленные связи с Западом, если только она не будет принуждена к этому, но почти нет сомнений, что с военным ее возрождением эпоха западного влияния на нее — прямого или косвенного — завершилась.

Война еще не окончена, но окончательная победа Японии не вызывает сомнений, и мир уже спрашивает с некоторым опасением: что будет дальше? Возможно, китайцы — самая миролюбивая и самая приверженная старине из всех наций — одновременно под японским и западным давлением будут принуждены в целях самозащиты по-настоящему освоить наше искусство войны. После этого, возможно, произойдет великое военное пробуждение Китая, который в тех же обстоятельствах, что создали новую Японию, вполне может обратить свое оружие на Юг и Запад. О возможных последствиях этого можно узнать из недавно опубликованной книги доктора Пирсона «Национальная жизнь и характер»<sup>66</sup>.

Не следует забывать, что искусство дзюдзюцу впервые возникло в Китае. И Западу еще придется считаться с Китаем — древним учителем Японии, над неизменностью которого бесчисленные бури завоеваний пронесли одна за другой, подобно ветру над камышовыми зарослями. Испытывая давление, Китай может быть вынужден, подобно Японии, защищать свою целостность приемами дзюдзюцу, и результаты этой невероятной дзюдзюцу могут иметь самые серьезные последствия для всего мира. Возможно, именно от Китая придет отмщение всех тех вторжений, ограблений и истреблений, в которых был повинен Запад, когда имел дело с более слабыми нациями.

Уже сейчас мыслители, обобщая опыт двух великих колонизирующих наций, — мыслители, с которыми нельзя не считаться, как французские, так и английские — предсказывают, что земля никогда не будет под полным владычеством наций Запада и что будущее принадлежит Востоку. Такие же убеждения имеют многие из тех, кто в силу долгого проживания на Востоке сумел заглянуть глубже внешней поверхности этой необычной части рода человеческого, столь далеко отстоящей от нас в своем мышлении, и понять всю глубину и силу ее жизненных приливов, понять ее неизмеримые способности к заимствованию, разглядеть ее умение приспособиться почти

к любой среде обитания. По мнению таких наблюдателей, ничто менее радикальное, чем полное истребление расы, составляющей более трети населения мира, не могло бы нам сейчас гарантировать само будущее нашей собственной цивилизации.

Долгая история западной экспансии уже близка к своему завершению. Возможно, западная цивилизация опоясала земной шар лишь для того, чтобы принудить к изучению наших методов разрушения и наших методов промышленной конкуренции народы, намного более склонные применять их против нас, нежели ради нас. То, что она может внезапно разрушиться от удара социального землетрясения, давно сделалось дурным сном тех, кто обитает на самых ее вершинах. Как общественный строй она недолговечна ввиду природы ее нравственного фундамента — этому учит нас восточная мудрость.

Разумеется, результаты трудов Запада не исчезнут до тех пор, пока человечество полностью не отыграет драму своего существования на планете. Западная цивилизация воскресила прошлое, она оживила языки мертвых, она вырвала у природы бесчисленные и бесценные секреты, она изучила светила и победила пространство, она заставила незримое стать зримым, она сорвала многие тайные покровы, она создала десять тысяч систем знания, она взрастила самые благородные, но также и самые отталкивающие, формы личности, она развила самые утонченные привязанности и самые возвышенные чувства, известные человечеству, но также и формы эгоизма и страдания, невозможные в другие эпохи. Интеллектуально она вознеслась выше звезд.

Но с каждым годом она всё более и более подтверждает тот закон, что чем сложнее организм, тем более он уязвим перед роковыми случайностями. Постоянно, по мере того как возрастает активность западной цивилизации, внутри нее становится всё глубже, острее и разветвленней, подобно нервным окончаниям, восприимчивость к любому потрясению или повреждению — к любой внешней силе, способной вызвать изменение. В результате простые последствия засухи или голода в самых отдаленных уголках земли, уничтожение малейшего центра снабжения, истощение рудника, ничтожнейшая временная закупорка торговой вены или артерии, малейшее давление на любой промышленный нерв могут привести к раз-

рушениям, которые повлекут за собой мучительные потрясения в каждой части этой гигантской структуры.

Наша цивилизация дает всё большее и большее развитие индивидууму. Но разве не развивает она его сейчас во многом так, как паровое отопление, искусственное освещение и химическое питание способны развивать растение под стеклом? Разве не ведет она к быстрой эволюции миллионов в направлении совершенно особого приспособления к таким условиям, сохранить которые невозможно — безграничной роскоши для меньшинства и беспощадного рабства для большинства? На подобные сомнения дается ответ, что общественные преобразования обеспечат средства, необходимые для противостояния всем опасностям. Мы крайне уповаем на то, что общественные реформы хотя бы на какое-то время сотворят чудеса. Но это не дает удовлетворительного ответа на один весьма важный вопрос: «Самые ли мы приспособленные для выживания?»

В чем заключается приспособленность для выживания? В умении приладиться к любой окружающей среде, в способности мгновенно найти решение в непредвиденных обстоятельствах, во врожденной способности встретить и преодолеть все неблагоприятные природные факторы. И определенно — в простой способности выживать. И именно в этой простой способности жить люди Запада стоят неизмеримо ниже людей Дальнего Востока. Человек Востока доказал свою способность изучать и осваивать достижения нашей науки, питаясь одним только рисом, и на такой простой пище, как эта, он способен научиться производить и использовать наши самые сложные изобретения. Что же до человека Запада, то он не в состоянии существовать, не имея средств, достаточных для поддержания чуть ли не двадцати жизней Востока.

Различные виды огромных и удивительных созданий, ныне вымерших, обитали на нашей планете. Не все они были истреблены естественными врагами; многие, по-видимому, погибли просто по причине огромной дороговизны их конструкций во времена, когда дары земли становились не столь обильными. Таким же образом может случиться, что западные расы погибнут по причине высокой стоимости своего существования. Свершив всё, на что были способны, они исчезнут

с лица земли — и будут замещены народами, лучше приспособленными для выживания.

Подобно тому, как мы истребили более слабые расы, просто их пережив, монополизируя и забирая, без зазрения совести, всё необходимое для их счастья, таким же образом мы сами можем быть в конечном итоге истреблены расами, способными нас пережить, довольствуясь меньшим, способными монополизовать всё, что нам жизненно необходимо, — расами, более терпеливыми, более самоотверженными, более плодотворными и значительно менее дорогими в содержании для природы. Они должны, несомненно, унаследовать наши знания, усвоить наши наиболее полезные изобретения, продолжить работу лучших из наших видов промышленности — возможно, даже сохранив всё наиболее ценное, что можно продолжить, в наших науках и наших искусствах. Но они едва ли будут сожалеть о нашем исчезновении больше, чем мы сами сожалеем об исчезновении динозавра или тираннозавра.

## Приложение

### Письмо Бэзилу Х. Чемберлену

---

Кумамото, 17 января 1893 г.

Дорогой Чемберлен, пишу вам лишь по причине того, что чувствую себя одиноко; не эгоистично ли это? Однако если я сумею хотя бы немного вас развлечь, вы мне это простите. Вы были в отъезде целый год, а посему, быть может, вам захочется услышать некоторые мои впечатления за это время. Вот они.

Иллюзии исчезли навсегда, но память о многих приятных вещах останется. Я знаю о японцах намного больше, чем знал год тому назад, но я по-прежнему далек от хорошего их понимания. Даже моя собственная женушка по-прежнему отчасти остается для меня загадкой, хотя всегда самого милого свойства... Существуют национальные особенности, трудные для понимания. Хочу рассказать об одной такой. В Оки нам очень понравился маленький мальчик-самурай, переживавший труд-

ные времена, и мы забрали его с собой. Сейчас он у нас наподобие приемного сына, — ходит в школу и всё иное. Первое время я пытался немного приласкать его, но обнаружил, что это расходится с обычаем и что даже сам мальчик этого не понимает. Дома по этой причине я почти никогда с ним не разговаривал; он оставался полностью под присмотром женщин. Они относились к нему доброжелательно, хотя, как мне думалось, несколько холодно. Такие отношения были мне непонятны. Его никогда не хвалили и крайне редко бранили. Между ним и всеми остальными домашними установился безукоризненный кодекс вежливости, согласно степени родства и положению в обществе. Он казался крайне холодным в своих манерах и, быть может, даже не испытывал никакого чувства благодарности, насколько я мог судить. Казалось, что ничто не может поколебать его юное спокойствие; был ли он счастлив или несчастлив, его выражение лица было совершенно как у какого-нибудь каменного Дзидзо. Однажды он уронил и разбил чашку. Согласно обычаю, никто не обратил внимания на эту оплошность, дабы не причинить ему боль. Внезапно я увидел слезы, струящиеся по его лицу. Лицевые мускулы, как обычно, вполне сохраняли выражение улыбчивой безмятежности, но даже волевое усилие не могло сдержать слезы. Они шли самопроизвольно. После этого все рассмеялись и стали говорить ему всякие хорошие вещи, пока он тоже не рассмеялся. Однако какая тонкая чувствительность, о существовании которой никто, мне подобный, не мог бы и догадываться.

Но что последовало за этим, удивило меня еще больше... Однажды он не возвращался из школы в течение трех часов с обычного времени его прихода, и, к моему великому изумлению, женщины начали плакать — и плакать горестно. Я никогда не мог себе представить, что беспокойство о мальчике способно вылиться у них в столь сильные эмоции. Слуги обегали весь город в истинном, а вовсе не в притворном стремлении его найти. Оказывается, ему пришлось пойти домой к учителю по какой-то надобности, связанной со школьными делами. Как только его голос послышался возле двери, всё вновь сделалось спокойным, холодным и любезно-вежливым. А я пребывал в крайнем изумлении.



Чувствительность присуща японцам в такой мере, о которой даже не подозревают те чужеземцы, которые грубо обходятся с ними в открытых портах. В Идзумо я знал историю одной служанки, которая с улыбкой получила легкий выговор, а затем тихо ушла и повесилась. У меня есть записи о многих самоубийствах подобного рода. И это притом, что японский хозяин никогда не бывает грубым или жестоким. Как японцы вообще способны служить определенному классу чужеземцев, мне непонятно. Возможно, они не считают их вполне человеческими существами, — а скорее *они*<sup>67</sup> или, в лучшем случае, *тэнгу*<sup>68</sup>.

Помимо этого, есть еще кое-что. У моего повара неизменно улыбающееся, жизнерадостное и вполне приятное выражение лица. Это симпатичный молодой человек. Когда бы я ни думал о нем, я вспоминал о его улыбке и видел перед собой маску, радостную, как одна из тех маленьких масок Оо-куни-нуси-но-Ками, что продаются в Мионосэки. Однажды я взглянул через маленькое отверстие в сёдзи и увидел его в одиночестве. Его лицо было совсем иным. Оно было худым и вытянувшимся, и на нем проявились странные линии, оставленные былыми невзгодами. И я подумал: «Он будет выглядеть именно так, когда умрет». Я вошел, и он совершенно изменился, — вновь стал молодым и радостным, и после этого я никогда более не видел это выражение озабоченности на его лице. Но я знаю, что когда он бывает один, оно возвращается к нему. Он никогда не показывает мне своего «истинного» лица; он носит маску радости, как часть этикета.

Помните ли вы ту ужасную парижскую статую, название которой я забыл, хотя ей вполне подошло бы название «Общество»? Красивая белая женщина в камне, улыбаясь, склоняется к вам. И эта ее улыбка полна прелести и очарования. После восхищения ею какое-то время, будучи с ней лицом к лицу, вы обходите ее, чтобы лучше рассмотреть работу ваятеля. И тогда, подумать только! Лицо, на которое вы смотрели, оказывается вовсе не лицом; это была маска, и сейчас вы видите настоящую голову, откинутую назад, с лицом, искаженным невыразимой болью. Думаю, что могла бы быть создана и подобная восточная статуя. Этому Востоку неведомы наши более глубокие страдания, как и не может он возвыситься до наших более высоких радостей. Но у него есть свои страдания. Его

жизнь не настолько солнечна, как можно было бы вообразить себе по его счастливому выражению лица. Под улыбкой его трудящихся в поте лица своего миллионов кроется страдание, мужественно скрываемое и самозабвенно переносимое; их более ограниченный умственный кругозор уравнивается детской чувствительностью, дабы равномерно распределить страдания в вечном порядке вещей.

Поэтому я премного люблю этот народ, и всё больше и больше, чем больше я узнаю его.

И наоборот, мне отвратительны до невыразимого отвращения откровенное себялюбие, безучастное тщеславие, мелкий вульгарный скептицизм новой Японии, этой новой Японии, что разглагольствует о своем презрении к старым временам и насмехается над дорогими стариками из эпохи, что была до Мэйдзи, и что никогда не улыбается, имея сердце столь же пустое и горькое, как высохший лимон.

И на этом я заканчиваю и желаю вам доброй ночи.

Всегда искреннейше,  
*Лафкадио Хирн*

Из сборника «Кокоро:  
отблески и отголоски  
японской сокровенной жизни»



## Гений японской цивилизации

|

Не потеряв ни одного корабля и не проиграв ни одного сражения, Япония сломала мощь Китая, создала новую Корею, расширила собственную территорию и изменила всё политическое лицо Востока. Каким бы изумительным ни казалось это в политическом отношении, оно еще более изумительно в отношении психологическом, ибо в этом проявляется результат широкого раскрытия способностей, в существование которых у этой нации никто за границей никогда не верил, — способностей весьма и весьма высокого порядка. «Принятие западной цивилизации» на протяжении тридцатилетнего периода времени не может означать прибавления к японскому мозгу каких-либо отделов или способностей, ранее в нем отсутствовавших. Оно не может означать какой-либо неожиданной перемены в умственном или нравственном характере нации. Такие изменения не происходят на протяжении одного поколения. Восприятие чужой цивилизации происходит намного медленней, порой требуются сотни лет, чтобы произошли перемены в психологии нации. Следовательно, эти способ-

ности уже были заложены в японском характере, и достаточно было создать такие условия, чтобы они раскрылись.

Именно в этом свете Япония представляется выдающейся страной; самое необычное в процессе ее «озападнивания» — это то, что мозг нации смог вынести столь тяжелое потрясение. «Принятие западной цивилизации» не было для японцев столь простым делом, как это представляется не утруждающим себя размышлениями людям. Поэтому не вызывает удивления, что перестройка мышления, реализованная ценой, о которой еще будет сказано, принесла хорошие результаты только в тех направлениях, в которых нация всегда проявляла способности особого характера. Так, восхитительно работают в японских руках западные промышленные достижения. То же самое можно сказать о профессиях, связанных с наукой. К медицине, прежде всего хирургии (в мире нет лучших хирургов, чем японцы), химии, микроскопии японский гений естественным образом приспособлен — во всех этих отраслях он проделал работу, о которой уже слышали во всем мире. В военном деле и государственном управлении он также показал удивительную мощь, что тоже не вызывает удивления — на протяжении всей своей истории японцы характеризовались как способные воины и политики. Однако ничего примечательного не было совершено ими в направлениях, чуждых национальному гению. В том, что касается, например, западной музыки, искусства и литературы, время, по-видимому, было потрачено напрасно\*. Эти предметы чрезвычайно притягательны для нашей эмоци-

---

\* В одном смысле западное искусство оказало влияние на японские литературу и театр, но характер этого влияния подтверждает национальное различие, о котором я упоминаю. Европейские пьесы были переделаны для японской сцены, а европейские романы переписаны для японских читателей. Но попытки создать какую-либо буквальную версию бывают редко, поскольку подлинные события, мысли и эмоции были бы непонятны рядовому читателю или театралу. Сюжеты адаптируются, чувства и события полностью трансформируются. «Новая Магдалена» (роман У. Коллинза. — *Прим. ред.*) становится японской девушкой, которая выходит замуж за парию. «Отверженные» Виктора Гюго становятся повестью о японской гражданской войне; а Энджорлас — японским студентом. Было несколько редких исключений, в том числе явный успех буквального перевода «Страданий молодого Вертера».

ональной жизни, но для японской эмоциональной жизни они не обладают столь же сильной притягательностью. Всякий серьезный мыслитель знает, что психическое преобразование конкретной личности через образование невозможно. Полагать, что эмоциональный характер какой-либо восточной нации может быть преобразован за короткий тридцатилетний период благодаря контакту с западными идеями, совершенно абсурдно. Эмоциональная жизнь, которая старше и глубже интеллектуальной жизни, может быть внезапно изменена в силу изменения жизненной среды не больше, чем поверхность зеркала может быть изменена появляющимися на нем отражениями. Всё, что Япония была способна совершить столь поразительно хорошо, она совершила без какого-либо самопреобразования, и те, кто воображают себе Японию сегодня нам эмоционально более близкой, чем она могла быть тридцать лет назад, игнорируют бесспорные факты.

Благожелательность всегда ограничена пониманием. Мы можем относиться благожелательно к чему-либо лишь в той степени, в какой понимаем это явление. Сложные чувства жителя Востока составлены из сочетаний жизненных опытов, унаследованных и индивидуальных, не имеющих сколько-нибудь точного соответствия в западной жизни, и по этой причине мы не можем их понимать полностью. Точно так же японцы не могут, даже если бы хотели, понимать европейцев и, значит, относиться к ним с наибольшей благожелательностью.

Человеку Запада по-прежнему невозможно различить истинную окраску японской жизни — интеллектуальной или эмоциональной, которые плотно переплетены между собой; в то же время он убежден в том, что она проигрывает его собственной. Жизнь японца изысканна, она таит в себе тонкие потенциальные возможности редчайшей привлекательности, но при этом, если судить по видимым и поддающимся измерению проявлениям, она настолько тускла, что западная жизнь в сравнении с ней выглядит почти что сверхъестественной. Если судить таким образом, то можно сделать вывод о невероятном контрасте между эмоциональным и интеллектуальным мирами Запада и Востока! Это различие даже менее поразительно, чем разница между улицами с деревянными тротуарами японской столицы и городскими магистралями Парижа или Лондона.

Когда сравнивают формы, в каких Запад и Восток воплотили свои мечты и устремления, свои ощущения — готический кафедральный собор с синтоистским храмом, оперу Верди или трилогию Вагнера с выступлением гейши, европейскую эпическую поэму с японским стихотворением, — всем очевидно неизмеримое различие в эмоциональном наполнении, силе воображения и художественном синтезе!

Все это подводит нас к удивительной вещи: нигде нет внешних признаков той колоссальной новой силы, которую продемонстрировала Япония! То, чего нам недостает в ее эмоциональной и интеллектуальной жизни, — я говорю о масштабности, — точно так же отсутствует в ее жизни промышленной и торговой! Земля остается такой же, какой она была ранее; ее лик почти не изменился после всех преобразований эпохи Мэйдзи. Миниатюрные железные дороги и телеграфные столбы, мосты и туннели могут остаться почти незамеченными в первобытной зелени пейзажей. Во всех городах, за исключением открытых портов и небольших иностранных поселений при них, едва ли существует уличный пейзаж, говорящий об усвоении западных идей. Вы можете проехать двести миль по внутренним районам страны, напрасно стараясь обнаружить значительные проявления новой цивилизации. Нет такого места, где бы вы нашли торговлю, проявляющую свое тщеславие гигантскими товарными складами, или промышленность, чье оборудование разместилось бы под акрами крыш. Японский город — это по-прежнему, как и десятью веками ранее, немногим больше, чем множество деревянных хижин — несомненно, живописных, подобных бумажным фонарям, но таких же хрупких. Нигде нет большого оживления и шума, нет плотного движения транспорта, грохота, толп пешеходов, дикой спешки. Даже в самом Токио вы можете насладиться, если у вас возникнет такое желание, спокойствием деревенского пейзажа. Это отсутствие видимых или слышимых признаков вновь обнаруженной силы, которая ныне угрожает рынкам Запада и перекраивает карты Дальнего Востока, вызывает у вас странное, я бы даже сказал, фантастическое чувство. Это почти то же самое чувство, которое возникает, когда после восхождения сквозь мили безмолвия к какому-нибудь синтоистскому храму вы обнаруживаете лишь призрачное пустое

маленькое деревянное строение, ветшающее под сенью тысячелетий. Силе Японии, как и силе ее древней веры, требуется незначительное материальное проявление: обе существуют там, где живет глубже всего сокрытая истинная мощь любого великого народа — в духе нации.

## II

Пока я размышляю, ко мне возвращается воспоминание о великом городе — городе, обнесенном стенами высотой до небес, и рокошущем, подобно морю. Воспоминание об этом рокоше приходит первым; затем проясняется видение: пропасть, которая в действительности улица, между горами, которые в действительности дома. Я устал, потому что прошагал многие мили между этими утесами кирпичной кладки, ни разу не ступив ногой на саму землю — только на каменные плиты, и не слышал ничего, кроме грохота суеты. Глубоко внизу под этими мостовыми, я знаю, существует громадный мир: идущие одна под другой системы путей. Передо мной фасады башен, пронизанные десятками ярусов окон, — архитектурные утесы, загораживающие солнце. Выше бледно-голубая полоска неба пронизана хитросплетением нитей — нескончаемой паутиной электрических проводов. В квартале справа живут девять тысяч душ, жильцы дома напротив него выплачивают ежегодно миллион долларов аренды. Семь миллионов едва покрыли затраты на те бесформенные громады, что полностью скрыли от солнца расположенный за ними сквер, — и такие тянутся на целые мили. Лестницы из стали и бетона, из бронзы и камня, с неимоверно дорогими балюстрадами, идут вверх, сквозь десятки и десятки этажей, но ни единая нога не ступает на них. Люди передвигаются вверх и вниз силой водяного пара и электричества — высоты слишком головокружительны, расстояния слишком велики, чтобы преодолевать их пешком. Мой друг, который платит пять тысяч долларов аренды за свои комнаты на четырнадцатом этаже чудовища неподалеку, ни разу не вышел на свою лестницу. Я иду пешком один, из любопытства; будь у меня серьезная цель, я бы не пошел: дистанция огромного размера, а время чересчур дорого, чтобы столь медленно преодолевать пространство.

Вся эта громада тверда, угрюма, безмолвна — это результат математической силы, приложенной к утилитарным задачам прочности и долговечности. Эти сонмы дворцов, товарных складов, коммерческих сооружений, зданий, описуемых и не-описуемых, вовсе не красивы — они зловещи. Чувствуешь себя подавленным самым ощущением той огромной жизни, что сотворила их, ощущением непомерного проявления их мощи — мощи без сострадания. Они — это архитектурное заявление о себе нового индустриального века.

Беспрерывен грохот колес, дробный топот копыт и человеческих ног. Чтобы спросить о чем-либо, нужно кричать в ухо спрашиваемого; чтобы видеть, понимать, двигаться в этой среде высокого давления, требуется опыт. Непривычный к ней испытывает такое чувство, как будто оказался там, где не прекращается паника, бушует шторм, свирепствует циклон. Тем не менее всё это — заведенный порядок.

Гигантские улицы перескакивают реки и соединяют берега проливов мостами из камня и стали. Насколько может видеть глаз, беспорядочный лес мачт с паутиной такелажа заслоняет берега. Деревья в обычном лесу стоят не столь густо, ветви в обычном лесу переплетаются не столь плотно, как мачты и рангоут этого безмерного беспорядка. И тем не менее — всё здесь пребывает в порядке.

### III

Если сказать просто, мы строим, рассчитывая на долговечность, а японцы — на кратковременность. Очень мало предметов обычного пользования изготавливается в Японии в расчете на долгое применение. Соломенные сандалии, изнашиваемые и заменяемые на каждом пешем переходе, одежда, состоящая из нескольких полотнищ, сшитых на живую нитку и каждый раз распарываемых для стирки, новые палочки для еды для всякого вновь пребывавшего постояльца гостиницы, легкие раздвижные рамы сёдзи, служащие одновременно окнами и стенами, бумага которых заменяется два раза в год, напольные циновки, обновляемые каждую осень, — всё это лишь случайные примеры бесчисленных мелких явлений повседневной



жизни, которые иллюстрируют национальную удовлетворенность японцев недолговечностью.

Что можно рассказать об обычном японском жилище? Покидая утром свой дом, я вижу, минуя угол следующей улицы на перекрестке с моей, нескольких человек, устанавливающих бамбуковые шесты на расположенном там свободном участке. Возвращаясь после пяти часов отсутствия, я обнаруживаю на том же самом участке каркас двухэтажного дома. На следующее утро я вижу, что стены уже почти завершены — на плетеные решетки нанесен глинистый раствор. К заходу солнца крыша полностью покрыта черепицей. На следующее утро я наблюдаю, что циновки уже уложены и завершена отделка внутри. За пять дней дом полностью построен. Это, разумеется, дешевое здание — более изысканное строение потребует намного больше времени на возведение и отделку. Но японские города состоят, по большей части, именно из таких простых зданий. Они настолько же дешевы, насколько незамысловаты.

Сейчас я уже не могу вспомнить, когда впервые встретил предположение, что изгиб китайской крыши сохраняет память о шатре пастуха-кочевника. Эта идея преследовала меня еще долго после того, как я неблагодарно забыл книгу, в которой нашел ее, и когда в Идзумо я впервые увидел своеобразную конструкцию древних синтоистских храмов, причудливые профили их торцовых стен с фронтонами и коньки их крыш, мысль забытого эссеиста тут же вспомнилась. В Японии многое, помимо первобытных архитектурных традиций, говорит о кочевых предках нации. Повсюду наблюдается полное отсутствие того, что мы называем основательностью; характеристики недолговечности лежат едва ли не на внешних проявлениях жизни народа, за исключением одежды крестьянина и формы орудий его труда. Не задерживаясь долго на том обстоятельстве, что на протяжении сравнительно короткого периода своей летописной истории Япония имела более шестидесяти столиц, большая часть которых полностью исчезла, можно вполне уверенно сказать, что каждый японский город перестраивается на протяжении жизни одного поколения. Исключение составляют лишь некоторые храмы и несколько грандиозных крепостей, но — и это общее

правило — японский город меняет свою форму и содержание в течение одной человеческой жизни. В этом отчасти повинны пожары, землетрясения и многие другие причины, независящие от людей, но, главным образом, это объясняется тем, что дома не строятся надолго. У простого народа нет отчих домов. Самым дорогим местом обычно является не место рождения, а место погребения; у людей есть мало что постоянное, за исключением древних храмов и могил.

Сама японская земля — это земля непостоянства. Реки меняют свое течение, побережья — свои очертания, равнины — свой уровень, вулканические пики растут или разрушаются, долины перекрываются потоками лавы или оползнями, озера появляются и исчезают. Даже безупречная форма Фудзи, этого снежного чуда, служившего источником вдохновения для художников на протяжении столетий, как говорят, слегка изменилась со времени моего прибытия в страну; немало других гор обрели совершенно иные формы за этот же короткий промежуток времени. Только общие очертания этой земли, общий вид ее природы, общий характер времен года остаются неизменными. Даже сама красота этих пейзажей во многом иллюзорна — красота изменчивой палитры цветов и набегающих дымок. Только тот, для кого эти пейзажи привычны, знает, что их горные туманы будто бы вторят изменениям, уже произошедшим, и обладают предвидением других изменений, которые еще произойдут в истории этого архипелага.

Только боги, несомненно, остаются на своих местах — они живут в своих домах на горах и распространяют легкий религиозный трепет сквозь сумрак своих рощ, быть может, потому, что не обладают формой и содержанием. Их храмы редко бывают преданы полному забвению. Но каждый синтоистский храм обязательно перестраивается через более или менее короткий промежуток времени; самый почитаемый из них — храм в Исэ — согласно незапамятной традиции, подлежит разрушению через каждые двадцать лет, после чего его бревна распиливаются на тысячи крохотных амулетов, которые раздаются паломникам.

Из Индии через Китай в Японию пришел буддизм со своей доктриной непостоянства и бренности. Строители первых

буддистских храмов в Японии — архитекторы иной нации — строили добротнo, чему свидетельством китайские постройки в Камакуре, пережившие много столетий, в то время как от великого города, некогда их окружавшего, не осталось и помину. Но влияние буддизма не могло побудить умы возлюбить материальную устойчивость. Учение о том, что вселенная — всего лишь иллюзия, что жизнь — всего лишь остановка на одно мгновение в бесконечном странствии, что любая привязанность к людям, к местам или к вещам должна быть преисполнена скорби, что только через подавление любого желания — даже желания самой нирваны — может человечество достичь вечного мира, безусловно, отвечало древнему национальному чувству японцев. Тем более его доктрина непостоянства и бренности должна была со временем оказать глубокое влияние на японский национальный характер, пусть даже японцы никогда особо не вникали в более глубокую философию чужеземной веры. Эта доктрина объясняла и утешала, она наделяла новой способностью мужественно переносить все невзгоды, она упрочила то терпение, что является характерной чертой этой нации. Даже в японском искусстве — развитом, если не созданном под буддистским влиянием — доктрина непостоянства и бренности оставила свои следы. Буддизм учит, что природа — это сон, иллюзия, фантазмагория, но он также учит, как улавливать ускользающие впечатления этого сна и истолковывать их в отношении высшей истины. Японцы хорошо усвоили этот урок. В буйном великолепии внезапного весеннего цветения, в появлении и исчезновении цикад, в умирающем багрянце осенней листвы, в волшебной красоте снега, в обманчивом движении волн или облаков увидели они смысл древних притч, неподвластных времени. Даже их бедствия — пожары, наводнения, землетрясения, эпидемии — непрерывно истолковывали им доктрину вечного исчезновения.

Всё, что существует во Времени, должно погибнуть. Леса, горы — всё существует так. Во Времени рождено всё, чему при-  
суще желание.

Солнце и Луна, сам Шакра<sup>69</sup>, со всем множеством своих последователей, вместе со всем без исключения, погибнут, нет ни единого, кто бы сохранился.

В начале вещи были связаны; в конце вновь они разделяются; другие сочетания вызывают появление новой субстанции; ибо в природе нет никакого общего и постоянного принципа.

Все вещи сложные должны состариться; недолговечны все вещи сложные. Даже в зернышке сезама нет ни малейшей толики, что остается неизменной. Всё преходяще; всё обладает врожденным свойством распада.

Все вещи сложные без исключения непостоянны, неустойчивы, ничтожны, они должны исчезнуть, распавшись; всё преходяще, подобно миражу, подобно призраку, подобно пене... Как все глиняные сосуды, изготовленные гончаром, бывают когда-нибудь разбиты, так же заканчиваются и жизни людей.

## Примечания

- <sup>1</sup> Алджернон Бертрам Фримен-Митфорд, 1-й барон Редесдейл (Algernon Bertram Freeman-Mitford, 1st Baron Redesdale; 1837–1916) — британский дипломат, коллекционер и писатель. Наиболее известен как автор «Сказаний старой Японии» («Tales of Old Japan»; на русском языке: Легенды о самураях. Традиции старой Японии. М., 2010.), а также мемуаров, в которых он описывает свой опыт дипломатической службы в Японии, а также ранее — в России и Китае.
- <sup>2</sup> Уильям Леки (William Edward Hartpole Lecky; 1838–1903) — ирландский историк, эссеист и политический мыслитель, автор восьмитомного труда «История Англии в XVIII веке».
- <sup>3</sup> Энгельберт Кемпфер (Engelbert Kämpfer; 1651–1716) — немецкий путешественник и натуралист. Прожил в Японии два года. Автор труда «История Японии» («Geschichte Japans»).
- <sup>4</sup> Бэзил Холл Чемберлен (Basil Hall Chamberlain; 1850–1935) — выдающийся британский японовед, почетный профессор японского языка и филологии в Токийском университете. Автор одних из самых первых переводов хайку на английский язык. Более всего известен благодаря краткой энциклопедии «Японские вещи» («Things Japanese», 1890). Среди других его трудов перевод на английский язык свода «Кодзики» (1882) и пособия по изучению японского языка.
- <sup>5</sup> Кацусика Хокусай (1760–1849) — японский художник-график, иллюстратор. Один из наиболее известных на Западе японских граверов.
- <sup>6</sup> Утагава Хиросигэ (1797–1858) — японский художник-график, мастер цветной ксилографии.

- <sup>7</sup> Генри Стил Олкотт (Henry Steel Olcott; 1832–1907) — один из основателей и первый президент Теософского общества, инициатор публикации подлинных брахманских и буддистских текстов. В качестве главы Теософского общества способствовал возрождению буддизма на Шри-Ланке, создал объединенный комитет по распространению буддизма в Японии. «Буддистский катехизис» Олкотта выдержал около 50 изданий на 20 языках.
- <sup>8</sup> «Священные книги Востока» (Sacred Books of the East) — монументальная 50-томная серия переводов религиозных писаний Азии на английский язык, выпущенная издательством Oxford University Press в 1879–1910 годах. В серию вошли важнейшие священные тексты индуизма, буддизма, даосизма, конфуцианства, зороастризма, джайнизма и ислама.
- <sup>9</sup> Сэмюэл Бил (Samuel Beal; 1825–1889) — английский востоковед, переводчик с китайского языка ранних свитков буддизма.
- <sup>10</sup> Эжен Бюрнуф (Eugène Burnouf; 1801–1852) — французский востоковед, крупнейший исследователь буддизма середины XIX века; внес значительный вклад в расшифровку древнеперсидской клинописи,
- <sup>11</sup> Анри-Леон Фезр (Henri-Léon Feer; 1830–1902) — французский востоковед, преподаватель тибетского языка в «Коллеж де Франс».
- <sup>12</sup> Томас Уильям Рис-Дэвидс (Thomas William Rhys Davids; 1843–1922) — британский востоковед, специалист по языку пали и основатель «Текстологического общества пали».
- <sup>13</sup> Йохан Хендрик Каспар Керн (Johan Hendrik Caspar Kern; 1833–1917) — голландский лингвист и востоковед.
- <sup>14</sup> Даймё (букв. «большое имя») — крупнейшие военные феодалы средневековой Японии, элита среди самураев.
- <sup>15</sup> Покушение на жизнь цесаревича Николая Александровича, будущего царя Николая II, 29 апреля (11 мая) 1891 года во время его визита в Японию. Нападавший, полицейский Цуда Сандзо, нанес Николаю два удара саблей.
- <sup>16</sup> Герберт Спенсер (Herbert Spencer; 1820–1903) — английский философ и социолог, один из родоначальников эволюционизма, идеи которого пользовались большой популярностью в конце XIX века.
- <sup>17</sup> Хирата Ацутанэ (1776–1843) — один из наиболее значительных синтоистских богословов.
- <sup>18</sup> Мотоори Норинага (1730–1801) — японский научный и культурный деятель, врач, дешифратор японских хроник, в частности «Кодзики».
- <sup>19</sup> Ньюма-Дени Фюстель де Куланж (Numa Denis Fustel de Coulanges; 1830–1889) — французский историк, автор классического труда «Древний город» («La Cité antique»).

- <sup>20</sup> Кицуки — хан (княжество) на острове Кюсю в период Эдо (1603—1868).
- <sup>21</sup> Дзимму Тэнно — мифический правитель Японии, восшествие которого на престол официально считается началом создания японского государства (660 год до н. э.).
- <sup>22</sup> Сакаки — цветущее вечнозеленое дерево, распространено на юге Японии. Сакаки часто выращивают в садах, парках и при храмах.
- <sup>23</sup> «Хогэн-моногатари» («Сказание о годах Хогэн») — сочинение неизвестного автора в жанре гунки — воинских повествований, которые иногда определяют как самурайский эпос. В центре повествования смута в эру Хогэн в 1156—1159 годах.
- <sup>24</sup> Райдзю (*яп.* «громовой зверь») — легендарное существо из японской мифологии, вероятное воплощение молнии. Его тело состоит из молний, при этом он может предстать в виде кошки, лисы, ласки, барсука, обезьяны или волка.
- <sup>25</sup> Имеется в виду жук-точильщик, издающий звуки, ритмично ударяя головой о стенки своих ходов в древесине. Эти звуки служат для привлечения самок.
- <sup>26</sup> Утагава Тоёкуни (1769—1825) — японский художник-график, в основном изображавший актеров театра кабуки. Работал в жанре укиё-э, для которого характерны картины обыденной жизни.
- <sup>27</sup> Коку — традиционная японская мера объема, равная 180,39 литра.
- <sup>28</sup> Ёсивара — токийский квартал, где была разрешена проституция. Возник после 1617 года, когда занятия проституцией вне специально огороженных кварталов были запрещены. Позже такие кварталы стали появляться в других крупных японских городах.
- <sup>29</sup> Бэнтэн — в синто божество счастья. Имеет женскую и мужскую ипостаси.
- <sup>30</sup> Компира — буддистско-синтоистское божество, покровитель рыбаков и моряков.
- <sup>31</sup> Гоётоми Хидэёси (1536 или 1537—1598) — японский военный и политический деятель. Объединив все японские земли под своей властью, передал власть племяннику, а сам принял титул тайко (регент в отставке).
- <sup>32</sup> Коноэ (1139—1155) — император Японии, правил в 1142—1155 годах.
- <sup>33</sup> Дзиппэнся Икку (1765—1831) — японский писатель, автор лирико-сатирических пьес, романов раблезианского характера для взрослых, популярных рассказов для простолюдинов, других сочинений.
- <sup>34</sup> Ри — мера длины в традиционной японской системе мер. Равен 3927 метрам.
- <sup>35</sup> То есть 43,3 градуса по Цельсию.

- <sup>36</sup> Тильбери — легкий двухколесный экипаж в одну лошадь.
- <sup>37</sup> Блафф (*англ.* bluff — обрыв, утес, высокий берег) — район Иокотамы, где во второй половине XIX века компактно проживали выходцы из Европы и Америки, располагались иностранные консульства и торговые представительства.
- <sup>38</sup> Застывшая улыбка, «приклеенная» улыбка (*фр.*).
- <sup>39</sup> «Ли цзи» (на русский язык переводится как «Книга установлений», «Книга обрядов», «Трактат о правилах поведения», «Записки о нормах поведения») — одно из основных произведений конфуцианского канона. Текст составлен в IV—I веках до н. э.
- <sup>40</sup> Босацу — в японской буддийской мифологии бодхисатва («очистивший пробужденное сознание»), который воплощает дух просветления.
- <sup>41</sup> Здесь и далее в этом абзаце цитируется «Дхаммапада» — одно из важнейших произведений буддийской литературы, составленное, как говорит традиция, из стихотворных изречений Будды Шакьямуни.
- <sup>42</sup> Наоборот (*лат.*).
- <sup>43</sup> Персиваль Лоуэлл (Percival Lowell; 1855–1916) — американский бизнесмен, дипломат, астроном, математик и востоковед. Опубликовал ряд монографий, посвященных особенностям японского национального характера, языка и религии.
- <sup>44</sup> Имеется в виду Герберт Спенсер.
- <sup>45</sup> Каттю — «панцирь и шлем», ясики — усадьба, то есть букв. «усадьба в доспехах» — усадьба-крепость.
- <sup>46</sup> Сёдзи — в традиционной японской архитектуре дверь, окно или разделяющая внутреннее пространство жилища перегородка, состоящая из прозрачной или полупрозрачной бумаги, крепящейся к деревянной раме.
- <sup>47</sup> 24 сентября 1877 года при Сирояме состоялась решающая битва между правительственными силами и армией восставшей самурайской оппозиции. Имевшие абсолютное численное превосходство императорские войска одержали победу, после чего самураи как класс прекратили свое существование и Япония продолжила курс на вестернизацию.
- <sup>48</sup> Каркас китайский — дерево высотой до 20 метров, с широкими яйцевидными листьями. Современное ботаническое название — *Celtis sinensis*.
- <sup>49</sup> Кодзин — бог очага, охранитель лошадей и домашнего скота.
- <sup>50</sup> Урасима Таро — главный герой японской легенды о молодом рыбаке, спасшем черепаху, которая оказалась Отохимэ, прекрасной дочерью повелителя морей Рюдзина, лишь временно принявшей



черепаший образ. Отохимэ пригласила Таро погостить в подводном дворце, где он провел несколько дней. На прощание Отохимэ вручила ему бумажную коробочку, сказав, однако, ни в коем случае не открывать ее. Вернувшись в свою деревню, Таро обнаружил, что за время его отсутствия прошло семьсот (в другом варианте — триста) лет. Потрясенный, он открыл коробочку, и из нее вырвался дым, который мгновенно состарил и убил его.

- <sup>51</sup> Дзингу — жена 14-го и мать 15-го правителя династии Ямато. После смерти мужа правила в 201–269 годах и лишь по истечении 69 лет передала власть сыну. Современные историки считают образ Дзингу собирательным, возникшим в результате симбиоза материалов из придворных хроник о походах на Корею, многочисленных народных легенд и семейного предания рода Окинага VII века.
- <sup>52</sup> Якуси-Нёрай — «будда медицины». Считается, что если с верой прикоснуться к его изображению, то можно исцелиться от любого духовного и физического недуга.
- <sup>53</sup> Эмма — в японской мифологии бог и судья мертвых, правитель подземного ада — дзигоку.
- <sup>54</sup> «Дао дэ цзин» («Книга пути и достоинства») — выдающийся памятник китайской мысли, оказавший большое влияние на культуру Китая и всего мира. Основная идея этого произведения — понятие дао — трактуется как естественный порядок вещей, не допускающий постороннего вмешательства. Споры о содержании книги и ее авторе продолжаются до сих пор.
- <sup>55</sup> Букв. «искусство мягкости».
- <sup>56</sup> Солдафоны, бретеры, фанфароны; букв. «с саблей на боку» (*фр.*).
- <sup>57</sup> Хаори — жакет, надеваемый поверх кимоно или с хакама. К концу периода Эдо хаори стало исключительно самурайской одеждой.
- <sup>58</sup> Хакама — длинные широкие штаны в складку, первоначально носимые мужчинами. Изначально под словом «хакама» подразумевался кусок материи, обертываемый вокруг бедер. В Средние века ежедневное ношение хакама разрешалось лишь придворным аристократам кугэ, самураям и священникам и только в исключительных случаях простолюдинам.
- <sup>59</sup> Нага-бакама — «длинные» хакама со штанинами, образующими шлейф до шестидесяти сантиметров длиной. Нага-бакама, затрудняющие нормальное передвижение и не дающие возможность совершить внезапное нападение с целью покушения, носили придворные высокопоставленных даймё и самураи во время аудиенций.
- <sup>60</sup> Камисимо — костюм самурая и придворного в эпоху Эдо, традиционно включал кимоно, хакама и катагину — безрукавку с преувеличенными плечами.

- <sup>61</sup> Имеется в виду демонстрация западными державами, прежде всего США, военно-морской мощи в водах Китая, вошедшая в историю под названием «дипломатия канонерок». Ныне это выражение связано с любой практикой использования военно-морских сил во внешнеполитических целях.
- <sup>62</sup> Микадо (*яп.* «высокие ворота») — титул императора. Считалось, что император имеет божественное происхождение, и видеть его дозволялось ограниченному кругу лиц. Публичные появления императора в XIX веке стали настоящим шоком для японского общества. После поражения Японии во Второй мировой войне император Хирохито, по требованию США, издал рескрипт, которым назвал божественность императора ложным понятием.
- <sup>63</sup> Аоки Сюдзо (1844—1914) — японский политический и государственный деятель, дипломат периода Мэйдзи.
- <sup>64</sup> В 1893 году.
- <sup>65</sup> Имеется в виду война Японии против маньчжурской империи Цин в 1894—1895 годах с целью установления господства в Корее, номинально бывшей сателлитом империи Цин, и проникновения в Маньчжурию и Китай.
- <sup>66</sup> Charles H. Pearson. *National Life and Character*. London — New York, 1894.
- <sup>67</sup> Они — в японской мифологии человекоподобные демоны, живущие в дзигоку. Аналог европейских чертей.
- <sup>68</sup> Тэнгу («небесная собака») — в японской мифологии существо в облике мужчины огромного роста. Тэнгу любит чистоту, морочит путников в горах, пугает их хохотом или изображая треск срубленных деревьев. Считается, что в тэнгу после смерти может превратиться злой или гордый человек.
- <sup>69</sup> Шакра (букв. могучий, сильный) — царь богов и повелитель небесного царства в ведизме, буддизме и индуизме.

## Содержание

Введение. *А.Б. Танасейчук, доктор филологических наук*. . . . . 5

Из сборника «Мимолетные видения неведомой Японии»

Предисловие . . . . . 9

Мой первый день на Востоке. . . . . 13

Домашний алтарь . . . . . 36

Два необычных праздника . . . . . 63

Кицунэ. . . . . 73

Улыбка японцев. . . . . 96

В японском саду. . . . . 116

Из сборника «Из глубин Востока:  
размышления и постижения в новой Японии»

Дзюдзюцу . . . . . 152

*Приложение. Письмо Бэзилу Х. Чемберлену*. . . . . 183

Из сборника «Кокоро: отблески и отголоски  
японской сокровенной жизни»

Гений японской цивилизации. . . . . 187

*Примечания* . . . . . 197

**Хирн Л.**

**Х49 Япония эпохи Мэйдзи / Лафкадио Хирн (Коидзуми Якумо). — М. : Ломоносовъ. — 2020. — 208 с. — (История. География. Этнография). ISBN 978-5-91678-557-9**

Англо-ирландско-американский востоковед и писатель Лафкадио Хирн прожил удивительную жизнь. Родился в Греции, вырос в Ирландии, начал карьеру в США, где в эпоху узаконенной расовой сегрегации взял в жены чернокожую женщину, жил на Мартинике, изучая обряды вуду, а затем уехал в Японию и остался там навсегда, стал профессором Токийского университета, принял японское имя Коидзуми Якумо и женился второй раз на дочери самурая. Приезд Хирна в Японию пришелся на период Мэйдзи, названный так по девизу правления императора Муцухито (1868–1912 годы). Это было время, когда Япония, отказавшись от самоизоляции, начала превращаться в мировую державу. Преподавая японцам английский, Хирн и сам учился: постигал тонкости языка, впитывал дух Японии. Здесь началась его литературная жизнь, которая принесла ему мировую славу. В настоящую книгу включены этнокультурные тексты, которые большей частью впервые публикуются на русском языке, — о стиле жизни, домашнем обиходе, обычаях, нравах и верованиях японцев.

УДК 94(520).031  
ББК 63.5(3)

Книга изготовлена в соответствии с Федеральным законом  
от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ, ст. 1, п. 2, пп. 3.  
Возрастных ограничений нет

История. География. Этнография

Лафкадио Хирн  
(Коидзуми Якумо)

Япония эпохи Мэйдзи



Редактор В. Ацкурский  
Верстка А. Петровой  
Корректор Н. Хромова

Подписано в печать 08.10.2019.  
Формат 60×90/16. Усл. печ. л. 13. Тираж 1000 экз.

ООО «Издательство «Ломоносовъ»  
119034 Москва, Малый Левшинский пер., д. 3  
Тел. (495) 637-49-20, 637-43-19  
info@lomonosov-books.ru  
www.lomonosov-books.ru

Отпечатано в АО «ИПК «Чувашия»  
428019 Чувашская Республика, г. Чебоксары,  
пр. Ивана Яковлева, дом 13  
Сайт: www.ipk21.ru, E-mail: office@ipk21.ru,  
Тел. (8352) 64-24-01